# Луи Ламбер

# Оноре де Бальзак

Et mine et semper dilectae dicalum[[1]](#footnote-1).

Луи Ламбер родился в 1797 году в маленьком городке Вандомского департамента Монтуаре, где у его отца был небольшой кожевенный завод. Отец хотел сделать сына своим преемником, но рано проявившееся у Луи стремление к науке изменило отцовские планы. А так как фабрикант и его жена обожали Луи, как обожают единственного сына, то они ни в чем ему не противоречили. Ветхий и Новый завет попали в руки мальчика, когда ему было всего пять лет; и эти две книги, в которых заключено столько книг, определили его судьбу. Мог ли он постичь своим детским воображением таинственную глубину Писания? Мог ли он следовать за полетом святого духа через миры? Или же он пленился только романтическим очарованием, насыщающим эти восточные поэмы? Или по-детски невинная душа его прониклась высокой благодатью, которой божественные руки освятили эти книги? Для некоторых читателей наше повествование будет ответом на эти вопросы. Во всяком случае, первое чтение библии имело одно следствие: Луи ходил по всему Монтуару в поисках книг; он получал их, потому что тайне детского обаяния никто не может противостоять. Отдаваясь всей душой занятиям, которыми никто не руководил, он достиг десятилетнего возраста. В эту эпоху заместителей призывников найти было трудно, многие богатые семьи нанимали их заранее, чтобы не оказаться без заместителя к моменту жеребьевки. Ничтожные средства кожевенников не позволяли им нанять человека для замены сына, поэтому они нашли, что принятие духовного сана — единственный дозволенный законом путь освобождения от рекрутского набора. В 1807 году они послали его к дяде с материнской стороны, священнику Мера, маленького городка, расположенного на Луаре около Блуа. Это удовлетворяло и страсть Луи к науке и желание родителей не подвергать его ужасам войны; любовь к исследованиям и раннее развитие давали надежду, что Луи сделает блестящую карьеру на церковном поприще. Пробыв около трех лет у дяди, довольно образованного старого ораторианца[[2]](#footnote-2), Луи уехал от него в начале 1811 года, чтобы поступить в Вандомский коллеж[[3]](#footnote-3), куда он был помещен и где содержался на средства госпожи де Сталь[[4]](#footnote-4).

Ламбер оказался под покровительством этой знаменитой женщины благодаря случаю, или, вернее, провидению, которое всегда расчищает дорогу беспризорному гению. Но для нас, чей взгляд скользит только по поверхности человеческого мира, эти случайности, которых так много бывает в жизни великих людей, кажутся результатом вполне естественного явления: ведь для большинства биографов голова гениального человека поднимается над массой других голов, как красивое растение, и своим очарованием притягивает глаза ботаника, блуждающего по полям.

Это сравнение подходит к истории Луи Ламбера, проводившего в доме родителей все время, которое его дядя давал ему для отдыха; но вместо того, чтобы по обычаю большинства школьников предаться радостям чудесного far niente[[5]](#footnote-5), притягивающего нас во всяком возрасте, он с раннего утра брал хлеб и книги и отправлялся читать и размышлять в лесную чащу, чтобы избежать наставлений матери, которой такие упорные занятия казались опасными. Инстинкт матери всегда безошибочен. С этого времени чтение для Луи стало чем-то вроде жажды, которую ничто не могло утолить; он поглощал книги любого рода и в равной мере питался сочинениями религиозными, историческими, философскими, физико-математическими. Он говорил мне, что испытывал несказанное наслаждение, читая словари, если не было под рукой других книг, и я ему охотно верил. Какой школьник не находил удовольствия в поисках возможного значения неизвестного ему существительного? Анализ слова, его общего смысла, его истории был для Ламбера источником длительных размышлений. Но они не были похожи на те инстинктивные размышления, с помощью которых ребенок привыкает к явлениям жизни, пытается понять моральную и физическую сущность бытия. Такая непроизвольная культура позже сказывается и в способности мыслить и в характере. В отличие от этого Луи с проницательностью дикаря постигал явления и объяснял их, раскрывая самые основы и одновременно делая выводы. Так, благодаря устрашающей игре, которую иногда позволяет себе природа, о чем свидетельствовала необычность такого существа, как Луи, он мог уже в четырнадцать лет легко формулировать идеи, глубина которых стала мне понятна много лет спустя.

— Часто, — говорил он мне, вспоминая о своих чтениях, — я совершал пленительные путешествия в бездны прошлого вслед за одним словом, как насекомое, примостившееся на травинке, плывущей по течению реки. Покинув Грецию, я прибывал в Рим, затем проходил через все последующие века. Какую прекрасную книгу можно написать, рассказывая о судьбе и приключениях одного слова! Конечно, оно получало различные оттенки благодаря событиям, которым служило; в зависимости от места действия оно пробуждало различные идеи; но разве не важнее рассмотреть его в трех разных отношениях: души, тела и движения? А наблюдать за ним, отвлекшись от его функций, его следствий, его воздействия, разве не значит утонуть в целом океане размышлений? Разве большинство слов не окрашено той идеей, которую они внешне выражают? Какой гений создал их? Если нужен великий ум, чтобы создать слово, то какой же возраст у человеческого языка? Сочетание букв, их форма, образ, который они придают слову, точно рисуют, по-разному у каждого народа, неведомые существа, живущие в наших воспоминаниях. Кто объяснит нам по-философски переход от ощущения к мысли, от мысли к слову, от слова к его иероглифу, от иероглифа к алфавиту, от алфавита к письменной речи, красота которой раскрывается в системе образов, расклассифицированных риторами и являющихся как бы иероглифами мысли? Разве древняя запись человеческих идей в зоологических образах не определила первые знаки, которыми воспользовался Восток, чтобы создать письменность на своих языках? И разве она не оставила по традиции кое-какие следы в наших новых языках, поделивших между собой осколки первоначального языка древних наций, языка величавого и торжественного, и величие и торжественность которого уменьшаются тем сильнее, чем больше стареет общество? Звуки этого языка так звонки и полнозвучны в иудейской библии, еще так красивы в Греции, но гаснут по мере прогресса наших сменяющих друг друга цивилизаций. Не этому ли древнему духу мы обязаны тайнами, скрытыми в человеческом слове? Разве не существует в слове «прав» нечто вроде волшебной прямоты? Не содержится ли в необходимом для него кратком звучании неясный образ целомудренной обнаженности, простоты истинного во всех смыслах? Этот слог дышит какой-то свежестью. Я взял как пример формулу абстрактной идеи, не желая объяснять эту проблему словом, которое сделало бы ее понимание слишком легким, как, например, слово «лёт», сразу действующее на непосредственное ощущение. И разве это происходит не с каждым словом: все они носят отпечаток животворящей власти, которой наделяет их человеческая душа и возвращает ей эту власть благодаря таинственному взаимодействию между словом и мыслью! Разве не говорят, что любовник пьет с губ возлюбленной столько же любви, сколько ей отдает? Одним своим внешним обликом слова пробуждают в нашем сознании образ тех созданий, которым служат одеждой. Как и для всех существ, для них есть только одна среда, где они могут действовать и развиваться. Но эта проблема, быть может, заключает в себе целую науку!

И он пожимал плечами, точно хотел сказать мне: мы и слишком велики и слишком ничтожны!

Страсть Луи к чтению могла быть полностью удовлетворена. У кюре Мера имелось две-три тысячи томов. Это сокровище он приобрел во время революции, когда громили соседние замки и монастыри. В качестве присягнувшего революции священника[[6]](#footnote-6) добряк мог выбрать лучшие произведения из драгоценных собраний, продававшихся на вес. В течение трех лет Луи Ламбер освоил все наиболее существенное в заслуживающих прочтения книгах из дядиной библиотеки. Поглощение мыслей путем чтения сделалось у него весьма любопытным процессом: его глаз охватывал одновременно семь-восемь строчек, а ум впитывал их смысл с той же быстротой, как и взгляд; часто одного слова в фразе было для него достаточно, чтоб впитать весь ее сок. У него была потрясающая память. Он так же ясно помнил мысли, приобретенные во время чтения, как и те, которые были подсказаны ему размышлением или собеседованием. Он обладал всеми видами памяти: он запоминал местность, имена, слова, вещи и лица. Он не только по желанию вспоминал любые предметы, но ясно видел их расположение, освещение, расцветку, как в тот момент, когда он на них смотрел. Эта способность распространялась точно так же на самые неуловимые оттенки познания. Он утверждал, что помнит не только расположение мысли в книге, откуда он ее взял, но даже свои настроения в те давние времена. У него был особый, неслыханный дар восстанавливать в памяти развитие мысли и всю свою духовную жизнь — от первой, воспринятой им идеи до самой последней, чуть расцветшей, от самой смутной до наиболее отчетливой. Его мозг, с ранних лет привыкший к трудному механизму концентрации человеческих сил, извлекал из этого богатого хранилища бесчисленное количество образов, восхитительных по своему реализму и свежести, которыми он и питался во время своих проникновенных созерцаний.

— Когда хочу, я опускаю на глаза вуаль, — говорил он мне на своем особом языке, которому сокровища его памяти придавали неожиданную оригинальность. — Внезапно я погружаюсь в самого себя и нахожу темную комнату, где явления природы раскрываются в более чистой форме, чем та, в которой они появились сначала перед моими внешними чувствами.

К двенадцати годам его воображение, возбужденное постоянным упражнением всех его способностей, необыкновенно развилось, и это позволяло ему получать такие точные представления о вещах, которые он познавал только через книги, что образ, запечатлевавшийся в его душе, не мог быть более живым и при непосредственном наблюдении. Он достигал этого, быть может, потому, что пользовался аналогиями, или потому, что был одарен вторым зрением, с помощью которого он охватывал всю природу.

— Читая описание битвы при Аустерлице[[7]](#footnote-7), — сказал он мне однажды, — я увидел ее во всех подробностях. Пушечные залпы, крики сражающихся звучали у меня в ушах и заставляли все внутри сжиматься; я чувствовал запах пороха, слышал ржанье лошадей и голоса людей; я любовался равниной, где сталкивались вооруженные народы, как если бы стоял на возвышенности Сантона. Это зрелище показалось мне таким же устрашающим, как видения Апокалипсиса[[8]](#footnote-8).

Когда он отдавал все свои силы чтению, то терял до некоторой степени ощущение физической жизни и существовал только во всесильной игре своего внутреннего мира, который необычайно расширялся; он оставлял, по его собственным словам, «пространство за собой». Но я не хочу предварять все фазы его интеллектуальной жизни. Помимо моей собственной воли, я нарушил порядок, в котором должен развернуть историю этого человека, перенесшего все свои действия в область мысли, как иные отдают всю свою жизнь действию.

К сочинениям мистического характера у него была просто непреодолимая склонность.

— Abyssus abyssum[[9]](#footnote-9) — говорил он мне.

Наш дух — бездна, и ему нравится погружаться в бездну. Дети, мужчины, старики — мы все увлекаемся тайнами, в каком бы виде они перед нами ни появлялись.

Эта склонность была для него роковой, если, конечно, можно судить о его жизни по обычным законам и измерять счастье других по собственной мерке или подчиняясь общественным предрассудкам. Эта склонность к потустороннему, или, по тому выражению, которое он часто употреблял, к mens divinior[[10]](#footnote-10), возникла, быть может, под влиянием на его внутренний мир первых книг, прочитанных у дяди. Святая Тереза и г-жа Гюйон[[11]](#footnote-11) продолжили для него библию, он отдал им первые плоды своего созревавшего разума, и они приучили его к тем живым откликам души, проявлением и результатом которых становится экстаз. Эти изучения, эта склонность возвысили его сердце, очистили его, облагородили, возбудили в нем страсть к божественной природе, научили его почти женской утонченности, которая бессознательно возникает у великих людей; быть может, высшим проявлением духа является отличающая женщину необходимость самоотверженности, только перенесенная в сферу возвышенного. Благодаря этим первым впечатлениям Луи остался целомудренным в коллеже. Эта благородная девственность чувства неизбежно привела к усилению горячности в его крови и обострению возможностей его мысли.

Баронесса де Сталь, высланная из Парижа и удаленная от него на сорок лье, пожелала провести несколько месяцев изгнания в поместье, расположенном около Вандома. Прогуливаясь однажды, она встретила на опушке парка сына кожевенника, ребенка, одетого почти что в лохмотья и поглощенного чтением. Он читал перевод книги «Небо и ад»[[12]](#footnote-12). В этот период во всей французской империи только господа Сен-Мартен[[13]](#footnote-13), де Жане[[14]](#footnote-14) и некоторые другие французские писатели, наполовину немцы по происхождению, знали имя Сведенборга. Крайне удивленная г-жа де Сталь с обычной резкостью, которую она намеренно подчеркивала в вопросах, взглядах и жестах, взяла книгу; потом, бросив взгляд на Ламбера, спросила:

— Разве ты понимаешь это?

— Вы молитесь богу? — спросил, в свою очередь, мальчик.

— Ну... конечно...

— А вы его понимаете?

Баронесса несколько мгновений ошеломленно молчала, потом она села около Ламбера и начала с ним разговаривать. К несчастью, моя память, вообще неплохая, не может сравниться с памятью моего товарища, и я совершенно все забыл из этого разговора, кроме первых слов. Эта встреча сильно поразила г-жу де Сталь; вернувшись в замок, она говорила о ней мало, хотя необходимость высказаться у нее обычно выражалась красноречивыми излияниями; но она была очень озабочена этим разговором. Единственный сохранивший воспоминание об этом событии живой свидетель, которого я спрашивал, чтобы узнать хотя бы несколько слов, вырвавшихся тогда у г-жи де Сталь, с трудом вспомнил, что баронесса сказала о Ламбере: это настоящий ясновидец. В глазах светских людей Луи не оправдал прекрасных надежд своей покровительницы. Временную благосклонность к нему рассматривали как женский каприз, как одну из фантазий, свойственных художникам. Г-жа де Сталь хотела отнять Луи Ламбера и у императора и у церкви, чтобы направить его к благородным целям, которые, по ее словам, были ему предназначены; она воображала его каким-то новым Моисеем, спасенным из воды. Перед отъездом она поручила одному из своих друзей, г-ну де Корбиньи, который в то время был префектом в Блуа, в положенное время поместить ее Моисея в Вандомский коллеж; потом она его, по всей вероятности, забыла.

Ламбер поступил в коллеж четырнадцати лет, в начале 1811 года, и должен был выйти из него, закончив курс философии, в конце 1814 года. Я сомневаюсь, чтобы во время обучения его благодетельница хоть раз дала о себе знать, и можно ли считать подлинным благодеянием то, что она три года оплачивала содержание мальчика, не думая о его будущем и заставив его сойти с того жизненного пути, на котором он, быть может, нашел бы свое счастье! Условия эпохи и характер Луи Ламбера могут вполне оправдать и беззаботность и щедрость г-жи де Сталь. Человек, выбранный посредником между нею и мальчиком, покинул Блуа в тот момент, когда Луи кончил коллеж. Последующие политические события оправдывают равнодушие этого человека к протеже баронессы. Автор *Коринны* ничего больше не услышал о своем маленьком Моисее. Сто луидоров, данных ею г-ну де Корбиньи, который, мне кажется, умер в 1812-м, не были настолько крупной суммой, чтобы пробудить воспоминания г-жи де Сталь, восторженная душа которой повсюду находила себе пищу, а все интересы поглощали события 1814—1815 годов[[15]](#footnote-15). Луи Ламбер в эти годы был и слишком беден и слишком горд, чтобы разыскивать свою благодетельницу, путешествовавшую по всей Европе. Тем не менее он пошел пешком из Блуа в Париж, чтобы повидать ее, и, к несчастью, пришел в тот самый день, когда баронесса умерла. Два письма, написанные Ламбером, остались без ответа. Воспоминание о добрых намерениях г-жи де Сталь в отношении Луи удержались только в нескольких юных умах, пораженных, как и я, этой удивительной историей. Нужно было быть в нашем коллеже, чтобы понять, какое впечатление обычно производило на нас появление *новичка* и то особое чувство, которое должна была вызвать история Ламбера.

Здесь необходимо дать некоторые объяснения по поводу основных законов нашего учреждения, наполовину военного, наполовину религиозного, чтобы рассказать о новой жизни, которой предстояло теперь жить Ламберу.

Перед революцией орден ораторианцев, посвятивший себя так же, как и иезуитский, народному просвещению, унаследовавший от него некоторые школы, обладал многочисленными учреждениями в провинции, из которых наиболее значительными являются коллежи: Вандомский, Турнон, Ла Флеш, Пон-Левуа, Соррез, Жюйи. В Вандомском коллеже, как, впрочем, и в других, воспитывалось, если не ошибаюсь, некоторое количество младших сыновей, предназначенных для службы в армии. Декрет Конвента об увольнении преподавательского состава очень мало повлиял на устав Вандомского коллежа. Когда первый кризис прошел, коллеж водворился в своем прежнем помещении. Некоторые члены конгрегации[[16]](#footnote-16), разбредшиеся по окрестностям, вернулись назад и восстановили коллеж, сохранив старый устав, привычки, традиции и нравы, придававшие ему тот особый облик, которого не было ни у одного из тех лицеев, где мне довелось побывать после Вандомского коллежа.

Расположенный посередине города на речушке Луар, омывающей его здания, коллеж образует большую, заботливо отгороженную территорию, где находятся все здания, необходимые для такого рода учреждений, — часовня, театр, лазарет, булочная, а также сады и источники. В этот коллеж, самое знаменитое воспитательное заведение из всех имеющихся в центральных провинциях, поступала молодежь из провинций и колоний. Дальность расстояния не давала возможности родителям часто посещать своих детей.

Кроме того, правила запрещали отпуск на каникулы. Поступив в коллеж, учащиеся покидали его только по окончании курса. За исключением прогулок под наблюдением отцов-воспитателей, все было рассчитано так, чтобы в этом учреждении господствовала монастырская дисциплина. В мое время еще сохранилось живое воспоминание об отце-корректоре, а традиционный кожаный ремень с честью выполнял свою грозную роль. Наказания, изобретенные когда-то иезуитами, одинаково ужасные как в моральном, так и в физическом отношении, сохранялись полностью по старой программе. Письма к родным в определенные дни были обязательны, так же как исповедь. Таким образом, наши грехи и наши чувства были строго регламентированы. Все носило отпечаток монастырского распорядка. Я вспоминаю среди прочих остатков старых установлений инспекцию, которой мы подвергались каждое воскресенье. Мы надевали парадную форму, выстраивались, как солдаты, в ожидании двух директоров, которые в сопровождении поставщиков и учителей вели тройное обследование: костюма, гигиены, морали.

Двести — триста учащихся, которых мог вместить коллеж, были разделены по старинному обычаю на четыре секции, называемые *маленькие, младшие, средние и старшие*. Секция малышей включала так называемые восьмой и седьмой классы; секция младших — шестой, пятый и четвертый; секция средних — третий и второй; наконец, старшая секция изучала риторику, философию, специальную математику, физику и химию. Каждая из этих особых секций имела свое здание, свои классы и свой двор на большом общем участке, куда можно было выйти из учебных комнат и который доходил до столовой. Эта столовая, достойная старого монастырского ордена, вмещала всех учащихся. В противоположность правилам других учебных заведений нам разрешалось разговаривать во время еды, ораторианская терпимость позволяла обмениваться блюдами по нашему вкусу. Этот гастрономический обмен всегда был одним из самых больших удовольствий нашей жизни в коллеже. Если кто-нибудь из среднего класса, посаженный во главе стола, предпочитал порцию красного гороха десерту, потому что нам давали и десерт, тотчас предложение — «десерт за горох» — передавалось из уст в уста, пока какой-нибудь сладкоежка не принимал предложения и не посылал свою порцию гороха, и она передавалась из рук в руки, пока не доходила до предложившего обмен, и тем же путем отправлялся десерт. Ошибок никогда не бывало. Если возникало несколько предложений подобного рода, то они нумеровались, тогда говорили: «Первый горох за первый десерт». Столы были длинные, наши непрерывные передачи приводили все в движение; и мы разговаривали, и ели, и действовали с необычайной живостью. Болтовня трехсот молодых людей, приход и уход слуг, менявших тарелки, подававших блюда, приносивших хлеб, надзор директоров создавали из вандомской столовой единственное в своем роде зрелище, которое всегда удивляло посетителей.

Чтобы несколько скрасить нашу жизнь, лишенную всякого общения с внешним миром, всякого семейного баловства, отцы разрешали нам держать голубей и сажать сады. Двести — триста шалашей, тысяча голубей, угнездившихся вокруг каменной ограды, и около тридцати садов представляли зрелище не менее интересное, чем наши трапезы. Но было бы слишком скучно рассказывать все детали, которые делают из Вандомского коллежа особое учреждение, оставляющее массу воспоминаний в тех, кто провел в нем свое детство. Кто из нас, несмотря на все горести учения, не вспоминает с наслаждением диковинных сторон нашей монастырской жизни? Сладости, купленные втихомолку во время прогулок, разрешение играть в карты и устраивать спектакли во время каникул, мелкое воровство и вольности, порожденные одиночеством; еще ярче вспоминается военная музыка, последние следы военного обучения; наша академия, капеллан, отцы-учителя; наконец, наши особые игры, разрешенные или запрещенные: гонки на ходулях, скольжение по ледяным зимним дорожкам, стук наших галльских деревянных подошв и главным образом товары в лавочке, устроенной у нас на дворе. Эту лавочку содержал своего рода мэтр Жак[[17]](#footnote-17); у него, согласно проспекту, и дети и взрослые могли купить ящики, сапоги на деревянных подошвах, инструменты, голубей с ожерельями и мохноногих, требники (этот товар покупали редко), перочинные ножи, бумагу, перья, карандаши, чернила всех цветов, мячи, шарики — одним словом, целый мир увлекательных ребячьих вещей, заключавших все — от соуса из голубей, которых приходилось убивать, до горшочков, где мы хранили рис, оставлявшийся от ужина для того, чтобы позавтракать на следующий день. Кто из нас настолько несчастен, что забыл, как билось у него сердце при виде этой лавочки, открывавшейся периодически в течение воскресных каникул, где мы поочередно тратили отпущенные нам деньги; но так как средства, полученные от родителей на мелкие удовольствия, были очень скромны, нам приходилось выбирать между этими вещами, столь соблазнительными для наших душ. Молодая супруга, которой муж дарит двенадцать раз в год кошелек с золотом — роскошный бюджет ее прихотей, — мечтала ли так страстно в первые дни медового месяца о различных покупках, которые поглотят эту сумму, как мечтали мы накануне первого воскресенья каждого месяца? В ночных сновидениях мы за шесть франков обладали всеми сокровищами неистощимой лавочки; а во время мессы громкие ответы, которые нам приходилось давать на возгласы священника, прерывали наши тайные подсчеты. Кто из нас может вспомнить, что у него хоть раз осталось несколько су на покупки во второе воскресенье? Наконец, кто не подчинялся уже тогда социальным законам, то жалея тех париев, которых скупость или семейные несчастья оставляли без денег, то помогая им, то презирая их?

Если кто хочет вообразить себе уединенность большого коллежа с его монастырскими зданиями, в центре маленького города, четыре парка, в которых мы размещались по иерархии, тот ясно представит себе, какой интерес возбуждало в нас появление *новичка*, нового пассажира, попавшего на корабль. Никогда ни одна юная герцогиня, представленная ко двору, не подвергалась такой язвительной критике, какой подвергался поступивший новичок со стороны всего своего отделения. За нами присматривали поочередно через неделю два отца-воспитателя, и обычно в течение вечерней рекреации перед молитвой льстецы, привыкшие беседовать с одним из этих воспитателей, первые слышали слова: «Завтра у вас будет «новичок»!» И тогда внезапно крик: «Новичок! Новичок!» — начинал звенеть по всем дворам. Мы сбегались со всех сторон, собираясь толпой вокруг учителя, и тотчас забрасывали его вопросами: «Откуда он? Как его зовут? В каком классе он будет?»

Вокруг появления Луи Ламбера создалась сказка, достойная «Тысячи и одной ночи». Я тогда был в четвертом, среди младших. Нашими учителями были два мирянина, хотя мы их по традиции называли отцами. В мое время в Вандоме было только три настоящих ораторианца, которым это звание принадлежало законно: в 1814 году они покинули коллеж, который постепенно переходил в ведение государства, и обрели приют у алтарей деревенских приходов, наподобие кюре из Мера. Отец Огу, дежурный воспитатель этой недели, был довольно славный человек, но не обладал обширными знаниями; у него не было необходимого такта, чтобы понять различные детские характеры и назначать наказания, считаясь с их возможностями. Отец Огу весьма охотно начал рассказывать о поразительных событиях, благодаря которым у нас на следующий день должен был появиться самый необыкновенный новичок. Тотчас же все игры прекратились, все младшие молча столпились, чтобы выслушать историю Луи Ламбера, найденного г-жой де Сталь в лесу, словно осколок метеорита. Г-н Огу вынужден был нам рассказать и о г-же де Сталь: весь вечер я воображал ее ростом в десять футов; потом я видел картину «Коринна», где Жерар изобразил ее очень высокой и очень красивой; увы, идеальная женщина, созданная моим воображением, превосходила ее настолько, что настоящая госпожа де Сталь совсем померкла в моем сознании даже после чтения ее совершенно мужской книги «О Германии». Но Ламбер представлялся нам настоящим чудом: когда г-н Марешаль, заведующий учебной частью, проэкзаменовал его, то он, по словам отца Огу, даже колебался, не поместить ли его к старшим. Ламбер слабо знал латынь, поэтому пришлось оставить его в четвертом классе, но он, конечно, каждый год будет перепрыгивать через класс, и в виде исключения его должны были бы принять в академию.

Мы будем иметь честь видеть среди младших платье, отмеченное красной ленточкой, которую носили академики Вандома. Академики пользовались блестящими преимуществами: они часто обедали за столом директора и дважды в год устраивали свои литературные вечера, на которых мы присутствовали и таким образом знакомились с их произведениями.

Академик — это великий человек в миниатюре. Если любой вандомец будет совершенно искренен, он признается, что впоследствии настоящий академик настоящей французской Академии казался ему не таким удивительным, как ребенок-гигант, отмеченный крестом и драгоценной, неоценимой красной ленточкой нашей академии. Трудно было стать членом этой прославленной группы, не достигнув второго класса, так как академики должны были во время каникул по четвергам устраивать публичные собрания и читать нам повествования в стихах или в прозе, послания, трактаты, трагедии, комедии, а разумению младших классов подобное творчество считалось недоступным. Я долго помнил одну сказку под названием «Зеленый осел», по-моему, наиболее выдающееся произведение этой безвестной академии. Ученик четвертого класса — академик! Среди нас будет жить этот четырнадцатилетний ребенок, уже поэт, любимый г-жой де Сталь, будущий гений, по словам отца Огу; волшебник, способный разобрать тему или перевод за то время, как нас ведут в класс, и выучить все уроки, прочитав их один раз. Луи Ламбер спутал все наши мысли. Любопытство отца Огу, нетерпеливое стремление увидеть новичка, которое он проявлял, еще больше воспламеняли наше пылкое воображение.

— Если у него есть голуби, для него не хватит шалаша, нет нигде места! Тем хуже! — говорил один из нас, ставший впоследствии знаменитым агрономом.

— А рядом с кем он будет сидеть? — спрашивал другой.

— О, как бы я хотел быть его «фезаном»! — взволнованно восклицал третий.

На языке нашего коллежа слово «фезан» (в других местах говорят «копен») является трудно переводимым выражением. Оно означает братский раздел радостей и горестей нашей детской жизни, близость интересов, порождавшую ссоры и примирения, договор оборонительного и наступательного союза. Странно подумать! Никогда в мое время не случалось, чтобы «фезанами» оказывались два родных брата. Если человек живет только чувством, может быть, он боится обеднить себя, смешивая обретенную привязанность с естественной.

Впечатление, которое произвели на меня речи отца Огу в этот вечер, осталось самым ярким впечатлением моего детства, и я могу сравнить его только с чтением «Робинзона Крузо».

Позже, при воспоминании об этих исключительных переживаниях, у меня возникла, быть может, совсем новая мысль о различных эффектах, которые производят слова в различных умах. В слове нет ничего абсолютного, мы больше воздействуем на него, чем оно воздействует на нас; его сила в образе, который мы в нем видим или в него вкладываем; но исследование этого явления требует пространных и неуместных здесь рассуждений. Так как я не мог спать, то вел длительный спор со своим соседом по дортуару относительно исключительного существа, которое появится среди нас завтра. Этот сосед, Баршу де Пенхоэн, который впоследствии некоторое время был офицером, а теперь стал писателем большой философской глубины, не изменил ни своему предназначению, ни случайности, соединившей в одном и том же классе, на той же самой парте, под той же самой крышей тех двух единственных учеников, о которых Вандом слышит до сих пор; ибо в тот момент, когда была опубликована эта книга, наш товарищ Дюфор еще не вступил на общественную дорогу в парламенте. Недавний переводчик Фихте, комментатор и друг Баланша, уже занимался так же, как и я, метафизическими вопросами; он часто городил вместе со мной всякий вздор о боге, о нас самих и о природе. Тогда он претендовал на звание пиррониста. Ревниво стремясь играть свою роль, он отрицал способности Ламбера; а так как я только что прочел «Знаменитых детей», я засыпал его доказательствами, указывая на маленького Монкальма, Пико делла Мирандола, Паскаля[[18]](#footnote-18) — словом, на все рано созревшие умы. Все это были известные аномалии в истории человеческого духа и предшественники Ламбера. В то время я ужасно пристрастился к чтению. Отец мой хотел направить меня в политехническую школу, и потому он дополнительно оплачивал частные уроки по математике. Мой репетитор, библиотекарь коллежа, разрешил мне пользоваться книгами и не слишком следил за тем, что именно я уносил из библиотеки, из тихого убежища, куда во время каникул я ходил к нему брать уроки. Я думаю, что он или не умел давать их, или был очень занят каким-то серьезным делом, потому что он мне охотно позволял читать в урочное время, а сам работал, не знаю над чем. Таким образом, между нами был молчаливо заключен договор: я не жаловался на то, что ничему не учусь, а он молчал по поводу того, что я брал книги. Увлеченный этой несвоевременной страстью, я пренебрегал уроками, сочиняя поэмы, которые, конечно, не много обещали, если судить по одной знаменитой среди моих товарищей слишком длинной стихотворной строчке, которой начиналась эпопея об Инках[[19]](#footnote-19):

О Инка! властелин и злополучный и несчастный!

В насмешку над моими опытами я был прозван Поэтом, но такие насмешки не могли меня исправить. Я продолжал рифмовать строчки, несмотря на мудрый совет господина Марешаля, нашего директора, который пытался излечить меня от моей пагубной застарелой болезни, рассказав в одной из проповедей о несчастьях малиновки, которая выпала из гнезда, попытавшись летать раньше, чем у нее выросли крылья. Я продолжал читать и стал самым бездеятельным, самым ленивым, самым задумчивым учеником младшего отделения, и, следовательно, меня наказывали чаще других. Это автобиографическое отступление должно сделать понятным характер размышлений, которые меня осаждали при появлении Ламбера. Мне было тогда двенадцать лет. Я чувствовал неясную симпатию к ребенку, с которым у меня было некоторое сходство в темпераментах. Я должен был, наконец, найти спутника по мечтам и размышлениям. Не зная еще, что такое слава, я был польщен, что буду товарищем ребенка, чье бессмертие было предсказано г-жой де Сталь. Луи Ламбер казался мне гигантом.

Наконец, настало долго ожидаемое завтра. За минуту до завтрака мы услышали на пустынном дворе шаги г-на Марешаля и новичка. Все головы тотчас же повернулись в сторону двери. Отец Огу, который разделял с нами муки любопытства, не засвистел, как обычно, чтобы прекратить шепот и призвать нас к занятиям. И тогда мы увидели этого пресловутого новичка, которого г-н Марешаль держал за руку. Учитель спустился с кафедры, и директор, следуя этикету, торжественно сказал ему:

— Милостивый государь, я привел к вам господина Луи Ламбера, он будет в четвертом классе и завтра придет на уроки.

Потом, тихо поговорив с учителем, он громко добавил:

— Где вы его посадите?

Было бы несправедливо потревожить из-за новичка кого-нибудь из нас, а так как была свободна только одна парта, рядом со мной, последним из поступивших в этот класс, то Луи Ламбер и занял ее. Несмотря на то, что занятия еще не кончились, мы все встали, чтобы посмотреть на Ламбера. Г-н Марешаль слышал наши разговоры, понял наше возбуждение и сказал с той добротой, за которую мы все его особенно любили:

— По крайней мере ведите себя хорошо, не мешайте заниматься другим классам.

Эти слова отпустили нас на отдых незадолго до завтрака, и мы все окружили Ламбера, в то время как г-н Марешаль прогуливался по двору с отцом Огу. Нас было примерно восемьдесят чертенят, смелых, как хищные птицы. Хотя мы все прошли через жестокие испытания поступления в коллеж, но никогда не давалось пощады новичку, и язвительный смех, вопросы, дерзости сыпались на голову неофита для его посрамления. Таким образом испытывались его привычки, сила и характер. Ламбер, то ли спокойный по натуре, то ли ошеломленный, не отвечал на наши вопросы. Один из нас заявил тогда, что новичок вышел из школы Пифагора[[20]](#footnote-20). Раздался общий смех. И на все время пребывания в коллеже Ламбер получил прозвище Пифагора. В то же время пронзительный взгляд Ламбера, отражавшееся на его лице презрение к нашему ребячеству, хотя презрение вообще было совершенно чуждо его характеру, спокойная поза, в которой он стоял, его видимая сила в полной гармонии с возрастом вызывали некоторое уважение даже в самых дурных из нас. Что касается меня, то я сидел около него и молчаливо наблюдал.

Луи был худеньким и хрупким мальчиком четырех с половиной футов ростом; его загорелое лицо, почерневшие от солнца руки свидетельствовали, казалось, о значительной силе мышц, а между тем он был слабее, чем бывают обычно в его возрасте. Через два месяца после его поступления в коллеж, когда пребывание в закрытом помещении сняло с него загар, как это случается с растением, мы увидели, что он бледен и бел, как женщина. Всем бросилась в глаза его крупная голова. Очень кудрявые волосы красивого черного цвета придавали невыразимое очарование его лбу, который казался огромным даже и нам, совершенно не интересовавшимся объяснениями френологии — науки, находившейся тогда еще в колыбели. Красота этого лба была необыкновенной, пророческой главным образом благодаря чистой линии надбровных дуг, словно вырезанных из алебастра, под которыми сверкали черные глаза; эти дуги сходились на переносице и, что бывает редко, казались идеально параллельными. Трудно было составить себе ясное представление о его лице, черты которого, кстати сказать, были довольно неправильными, очень заметны были только глаза, удивлявшие богатством и изменчивостью выражения и, казалось, отражавшие его душу. То светлый и поразительно проницательный, то нежный и неземной взгляд этих глаз становился тусклым, можно сказать, бесцветным в те минуты, когда Луи предавался созерцанию. Тогда его глаза походили на оконные стекла, в которых только что отражалось солнце, но вдруг погасло. Его сила и его голос имели такое же свойство, как и взгляд: то неподвижность, то изменчивость. Голос его то становился нежным, как голос женщины, которая нечаянно призналась в любви, то затрудненным, ломким, запинающимся, если можно выразить этими словами необычные оттенки. Что же касается его силы, то часто он уставал от самой легкой игры и казался слабым, почти калекой. Но в первые дни его жизни в коллеже, когда один из наших матадоров посмеялся над этой болезненной хрупкостью, делавшей его неспособным к бурным упражнениям, бывшим тогда в ходу в нашем коллеже, Ламбер схватил двумя руками конец одного из наших столов, состоявшего из двенадцати пюпитров, расположенных в два ряда, двумя скатами, оперся туловищем на учительскую кафедру, придержал стол ногами, поставив их на нижние перекладины, и сказал:

— Пусть десять человек одновременно попробуют его сдвинуть!

Я присутствовал при этом и могу засвидетельствовать фантастическое доказательство силы Ламбера: вырвать стол из его рук оказалось невозможно. Ламбер обладал способностью в некоторые мгновения концентрировать в себе необыкновенное могущество, собирать все силы и направлять их на одну какую-нибудь цель. Но дети, так же, впрочем, как и взрослые, привыкли судить по первым впечатлениям; они наблюдали за Луи только в первые дни после его приезда: он совершенно не оправдал предсказаний г-жи де Сталь и не совершил ни одного из тех чудес, какие мы от него ждали. После первого испытательного триместра Луи стал считаться самым обыкновенным учеником. Только мне одному дано было проникнуть в эту высокую душу, и почему бы мне не назвать ее даже божественной? Что может быть ближе к богу, чем сердце гениального ребенка? Благодаря общности вкусов и мыслей мы сделались друзьями и «фезанами». Наше братское единение было таким глубоким, что товарищи соединили наши имена. Их перестали произносить по отдельности, чтобы позвать одного из нас, нам кричали: «Поэт и Пифагор!» Имена других учеников тоже произносились вместе, как одно. Таким образом, я был в течение двух лет другом по школе бедного Луи Ламбера, и моя жизнь была в то время настолько тесно соединена с его жизнью, что для меня оказалось возможным написать историю его духовного развития.

Долгое время я не понимал поэзии и богатства, скрытых в сердце и в мозгу моего товарища. Мне надо было дожить до тридцати лет, чтобы наблюдения мои созрели и отстоялись, чтобы луч живого света осветил их заново, чтобы я понял значение явлений, неопытным свидетелем которых я был; я наслаждался ими, не объясняя себе ни их величия, ни механизма, я даже забыл некоторые из них и запомнил только самые яркие; но теперь моя память привела все в порядок, и я постиг тайны этого плодовитого ума, вспоминая о пленительных днях нашей юной дружбы. Только время дало мне возможность проникнуть в смысл событий и фактов, которыми богата эта никому не известная жизнь, подобная жизни многих других людей, потерянных для науки. Эта история важна только для выражения и оценки вещей чисто нравственного порядка, а если она полна анахронизмов, то, быть может, это не повредит ее своеобразному интересу.

В течение первых месяцев жизни в Вандоме Луи заболел такой болезнью, симптомы которой были незаметны для взора наших воспитателей, однако эта болезнь неизбежно должна была мешать проявлению его больших способностей. Привыкнув к свежему воздуху, к тому, что его образование пополнялось от случая к случаю, независимо от чьей-либо воли, окруженный нежной заботой обожавшего его старика, привыкнув думать под открытым небом, он с трудом осваивался с жизнью в четырех стенах комнаты, где восемьдесят молодых людей молчаливо сидели на деревянных скамьях, каждый за своим пюпитром. Его чувства были так обострены, что развили в нем исключительную душевную тонкость, и он очень страдал от жизни в большом сообществе. Портившие воздух испарения, смешанные с запахом всегда грязного класса, замусоренного остатками наших завтраков и ужинов, действовали на его обоняние, на то чувство, которое больше всего связано с мозговой системой и поэтому в случае поражения приносит незаметное сначала расстройство в мыслительные органы. Кроме этих причин порчи воздуха, были еще и другие; в комнатах для занятий находились ящики, где мы хранили нашу добычу: голубей, убитых к празднику, пищу, тайком унесенную из столовой. Наконец, в этих комнатах находился еще громадный каменный постамент, где все время стояли два ведра, полные воды, своеобразный водослив, где каждое утро, в присутствии учителя, мы поочередно ополаскивали лицо и мыли руки. Оттуда мы переходили к столу, где нас причесывали и пудрили женщины. Наше жилище, убиравшееся раз в день, перед нашим пробуждением, было всегда грязным. Кроме того, несмотря на большое количество окон и высоту дверей, воздух постоянно портили запахи парикмахерских принадлежностей, умывальника, ящиков, где хранились вещи каждого ученика, не говоря уже об испарениях наших сгрудившихся восьмидесяти тел. Этот humus коллежа, смешанный с грязью, которую мы все время приносили со двора, порождал зловоние, точно от навозной кучи. Отсутствие чистого, ароматного воздуха, которым он до сих пор дышал, перемена привычек, дисциплина — все угнетало Ламбера. Опершись головой на левую руку, облокотившись правой на свой пюпитр, он все часы занятий смотрел на листву деревьев во дворе или на облака на небе: казалось, он учил уроки; но, видя, что его перо неподвижно, а страница оставалась чистой, учитель кричал ему:

— Вы ничего не делаете, Ламбер!

Это «вы ничего не делаете» было булавочным уколом, терзавшим сердце Ламбера. Потом у него уже не было свободного времени, в перемены он должен был писать pensum'ы. «Пенсум» — наказание, тип которого варьируется в зависимости от обычаев каждого коллежа; в Вандоме «пенсум» представлял некоторое количество строчек, переписанных в часы перемен. И Ламбер и я были так завалены «пенсумами», что за два года нашей дружбы у нас не было и шести свободных дней. Если бы не книги, утащенные из библиотеки, которые поддерживали жизнь в нашем мозгу, подобное существование привело бы нас к полнейшему отупению. Отсутствие упражнений губительно для детей. Привычка особым образом держать себя на празднествах и приемах, усвоенная с малолетства, говорят, очень сильно действует на телосложение царственных особ, если им не удается помочь своему физическому развитию жизнью на поле сражений и охотничьим спортом. Если законы этикета и двора до такой степени воздействуют на мозг спинного хребта, что делают женственными тазовые кости королей, расслабляют их мозговую ткань и ведут к вырождению, разве не приносит ученикам глубочайший физический и моральный вред постоянный недостаток свежего воздуха, движения, веселья? Неужели система наказаний, обычная для коллежей, не привлечет внимания авторитетов в области народного просвещения, — ведь найдутся среди них мыслители, которые думают не только о себе.

Мы навлекали на себя «пенсумы» по тысяче причин. У нас была такая хорошая память, что мы никогда не учили уроков. Достаточно было, чтобы кто-нибудь из товарищей произнес отрывок по-французски или по-латыни или грамматическое правило, чтобы мы могли повторить его; но если, к несчастью, учитель решал изменить очередность и спрашивал нас первыми, мы часто даже не знали, что было задано: «пенсум» назначался, несмотря на наши самые остроумные объяснения. Во всяком случае, мы откладывали приготовление уроков до самого последнего момента. Всякий раз, когда мы хотели дочитать какую-нибудь книгу или погружались в мечты, уроки забывались, и это был новый источник «пенсумов». Сколько раз наши переводы были написаны за время, пока ученик первого класса, обязанный собирать их, войдя в класс, требовал их по очереди у каждого ученика! К моральным трудностям, которые переживал Ламбер, привыкая к коллежу, присоединялось еще не менее трудное испытание, через которое мы прошли все: надо было претерпеть множество бесконечно разнообразных физических страданий. Чувствительность кожи у детей требует тщательной заботы, особенно зимой, когда по самым разнообразным поводам им приходится переходить из ледяной атмосферы грязного двора в жарко натопленный класс. Таким образом, из-за отсутствия материнских забот, младших и маленьких просто пожирали болячки и трещины на коже, настолько болезненные, что во время завтрака приходилось делать особые перевязки, конечно, не особенно тщательно, так как уж слишком много было больных рук, ног и пяток. Многие дети вынуждены были предпочитать болезни лечению. Ведь им приходилось выбирать: то ли заканчивать приготовление уроков, то ли наслаждаться катком, то ли идти на перевязку, которая небрежно накладывалась и с которой они обращались еще небрежней. Кроме того, нравы коллежа ввели в моду насмешки над слабенькими, ходившими на перевязки, и ученики соревновались в срывании тряпок, намотанных на руки санитарами. Таким образом, зимой у многих из нас так болели пальцы и ноги, изъеденные болячками, что мы были не очень-то склонны учиться, и нас наказывали за то, что мы не учились. Очень часто наставник, обманутый притворными болезнями, не считался с реальными. В оплату за учение входило полное содержание учеников в коллеже. Администрация обыкновенно назначала торги на поставку обуви и одежды; отсюда этот осмотр каждые пятнадцать дней, о котором я уже говорил. Этот выгодный для администрации метод имел весьма грустные последствия для осматриваемого. Горе малышу, у которого была дурная привычка стаптывать или рвать ботинки или преждевременно пронашивать подошвы, то ли из-за походки, то ли из-за шарканья в часы занятий, когда ребенок повинуется свойственному его возрасту стремлению двигаться! В течение всей зимы несчастный испытывал злейшие страдания во время прогулки; во-первых, отмороженные места мучительно болели, как во время припадков подагры; затем крючки и шнурки, закреплявшие ботинки, лопались, стоптанные каблуки мешали проклятым ботинкам как следует прилегать к ногам ребенка; ему приходилось тащиться по замерзшим тропинкам или порою с трудом вытаскивать свою обувь из глинистой почвы Вандома; наконец, дождь, снег часто проникали сквозь незаметно распоровшиеся швы, плохо прилаженную бумажную затычку, и нога начинала пухнуть. Из шестидесяти детей не было и десяти, которые не испытывали при ходьбе какой-нибудь боли; и все же они следовали за основной массой, повинуясь общему ритму, как взрослые люди, которых заставляет жить сама жизнь. Сколько раз отважный паренек, плача от гнева, все же собирал остатки энергии, чтобы, превозмогая боль, двигаться вперед или вернуться в свое обиталище! Вот насколько в этом возрасте неопытная душа боится и смеха и сочувствия — двух видов насмешки. В коллеже, как и в обществе, сильный презирает слабого, еще не понимая, в чем состоит истинная сила. И это все еще пустяки. Никаких перчаток не полагалось. Если случайно родители, санитарка или директор давали самым хрупким из нас пару перчаток, шутники и старшие в классе клали их на печку, забавлялись тем, что сушили их, пока они не трескались; потом, если удавалось вырвать их у шалунов, они отсыревали и скореживались от небрежного обращения. Ни одни перчатки не выдерживали. Перчатки казались привилегией, а дети любят равенство.

Все эти разнообразные мучения должен был испытать Луи Ламбер. Как все люди, склонные к размышлениям, поглощенные мечтами, часто привыкают к какому-нибудь машинальному движению, он постоянно играл своими ботинками и очень быстро изнашивал их. Нежная, как у женщины, кожа на его лице, на ушах, на губах трескалась от малейшего холода. Его руки, такие мягкие и белые, делались красными и шершавыми. Он непрерывно простужался. Луи и впрямь донимали всевозможные болезни, пока он не приспособился к вандомским нравам. Долгий жестокий опыт всяческих бед заставил его наконец «думать о своих делах», как говорили у нас в коллеже. Ему пришлось заботиться о своем ящике, о своей парте, об одежде, о ботинках; не позволять красть у себя ни чернил, ни книг, ни тетрадей, ни перьев; наконец, пришлось научиться думать о тысяче деталей нашей детской жизни, которыми столь прилежно занимались эгоисты и посредственности, всегда получавшие награды за отличные успехи и поведение, награды, не достававшиеся многообещавшему ребенку, который под бременем почти божественного воображения страстно отдавался бурному потоку своих мыслей. Это еще не все. Между учителями и учениками постоянно шла борьба, беспощадная борьба, с которой в обществе можно сравнить только борьбу оппозиции против министерства при представительном правлении. Но журналисты и ораторы оппозиции, быть может, не умеют так быстро использовать какое-нибудь преимущество, так жестоко упрекать за любую вину, так едко насмехаться, как это умеют дети по отношению к людям, которым доверено их воспитание. Даже ангел потерял бы терпение, занимаясь этой профессией. Поэтому не следует слишком сильно винить бедного, плохо оплачиваемого, не очень проницательного наставника за то, что он иногда выходит из себя и бывает несправедлив. Под взглядом множества насмешливых глаз, окруженный ловушками, этот наставник иногда мстит за все свои промахи, которые дети чрезвычайно быстро замечают.

Не считая крупных проступков, для которых существовали другие наказания, ремень был в Вандоме l'ultima ratio patrum[[21]](#footnote-21). Для наказания за невыполненные обязанности, плохо выученные уроки, глупые выходки было достаточно и «пенсума»; но оскорбленное самолюбие учителя отзывалось на нас ремнем. Из всех физических страданий, которым мы подвергались, самую сильную боль нам причиняла кожаная полоска шириной примерно в два пальца, которая обрушивала на наши слабые руки всю силу, весь гнев наставника. Подвергаясь этому классическому наказанию, виновный стоял на коленях посреди зала. Нужно было подняться со скамьи и стать на колени около кафедры под любопытными, часто насмешливыми взглядами товарищей. Для нежных душ эти приготовления были двойной пыткой, подобной путешествию от залы суда до эшафота на Гревской площади[[22]](#footnote-22), которое совершал некогда приговоренный к смерти. В зависимости от своего характера одни кричали, плача горькими слезами, до или после удара, другие претерпевали боль со стоическим спокойствием, но в ожидании наказания даже самые мужественные едва могли подавить конвульсивную гримасу на лице. Луи Ламбер без конца подвергался этому наказанию из-за одной особенности своей натуры, которую долгое время он сам не замечал. Когда возглас учителя: «Вы ничего не делаете!» — грубо отрывал его от размышлений, он зачастую и вначале совершенно бессознательно бросал на наставника взгляд, исполненный какого-то яростного презрения, насыщенный мыслью, как насыщена электричеством Лейденская банка. Этот взгляд, несомненно, раздражал учителя, и, оскорбленный беззвучной эпиграммой, он стремился отучить ученика от этих молниеносных взглядов. Первый раз, когда учитель оскорбился взглядом, поразившим его, как молния, он сказал фразу, которую я запомнил:

— Если вы еще раз так взглянете на меня, Ламбер, вы получите ремень!

При этих словах все носы вздернулись, все глаза следили то за учителем, то за Ламбером. Замечание прозвучало до такой степени глупо, что мальчик снова бросил на учителя молниеносный взгляд. Так возникла ссора между учителем и учеником, навлекавшая на Ламбера частые наказания ремнем. И это заставило его понять подавляющую силу своего взгляда.

Бедный поэт с такими чувствительными нервами, иногда истеричный, как женщина, угнетенный хронической меланхолией, так же болеющий своим гением, как юная девушка любовью, которой она жаждет, еще не зная ее, этот мальчик, такой сильный и такой слабый, оторванный Коринной от просторов родных полей, чтобы попасть в матрицу коллежа, в которой каждый ум, каждое существо, несмотря на свои способности, свой темперамент, должно приспособиться к правилам, к форме, как золото вынуждено превращаться в монеты под прессом чеканки, Луи Ламбер выстрадал все, что могло задеть его тело или его душу. Он был прикован к скамье, закрепощен партой, избит ремнем, измучен болезнями, оскорблен во всех своих чувствах, сжат петлей бедствий, и вся его телесная оболочка мучительно страдала от бесчисленных тиранических требований коллежа. Подобно мученикам, улыбавшимся во время пыток, он ускользал в небеса, которые приоткрывала ему его мысль. Быть может, эта внутренняя жизнь помогла ему заглянуть в тайны, в которые он так верил.

Наше свободолюбие, наши незаконные занятия, наше кажущееся безделье, отупение, в каком мы жили, непрерывные наказания, отвращение к урокам и «пенсумам» создали нам неоспоримую репутацию никчемных и неисправимых детей. Учителя презирали нас, а товарищи, от которых мы скрывали наши незаконные занятия, боясь их насмешек, выражали нам самое отвратительное пренебрежение. Эта двойная недооценка была несправедлива со стороны учителей, но была совершенно естественной со стороны соучеников. Мы не умели играть в мяч, бегать, ходить на ходулях. В дни амнистии или если у нас случайно оказывалась свободная минута, мы не участвовали ни в каких развлечениях, принятых в это время в коллеже. Чуждые забавам наших товарищей, мы пребывали в одиночестве, меланхолически сидя под каким-нибудь деревом во дворе. Поэт и Пифагор были исключением, они вели жизнь за пределами общины учеников. Присущие школьникам проницательный инстинкт и обостренное самолюбие заставляли их чувствовать в нас душевную жизнь или более высокую, или более низкую сравнительно с их жизнью. Отсюда у одних была ненависть к нашей молчаливой аристократичности, у других — презрение к нашей никчемности. Эти чувства возникли между нами вопреки нам самим, и, может быть, я разгадал их только сегодня. Итак, мы жили, как две крысы, прячась в углу классной комнаты, где были наши парты, и мы были вынуждены там сидеть и во время уроков и во время перемен. Это исключительное положение должно было привести и привело к войне между нами и детьми нашего отделения. Почти всегда забытые всеми, мы существовали там спокойно, и такая жизнь нас наполовину удовлетворяла; мы были похожи на два растения или два украшения, не гармонировавшие с общем стилем комнаты. Но иногда самые насмешливые из наших товарищей оскорбляли нас, желая показать, что они могут безнаказанно злоупотреблять своей силой, а мы отвечали на это презрением; все это частенько кончалось тем, что на Поэта и Пифагора обрушивался град ударов.

Ламбер тосковал по дому много месяцев. Я не знаю, каким образом описать охватившую его меланхолию. Луи испортил мне множество шедевров. Так как мы оба разыгрывали роль *«Прокаженного из долины Аосты»* [[23]](#footnote-23), мы испытали чувства, выраженные в книге господина де Местра, прежде чем прочитали о них в его красноречивом изложении. Конечно, какое-нибудь произведение может воскресить воспоминания детства, но ему никогда не удается заглушить их. Вздохи Ламбера прозвучали для меня гораздо более проникновенными гимнами печали, чем самые прекрасные страницы *Вертера*. Но, быть может, нельзя сравнивать страдания, которые причиняет справедливо или несправедливо осужденная нашими законами страсть, со скорбями бедного ребенка, жаждущего ярких лучей солнца, стремящегося в росистые долины, на свободу. Вертер был рабом одной страсти, вся душевная жизнь Луи Ламбера была порабощена. При одинаковом таланте очень трогательное чувство, основанное на самых искренних, а значит, самых чистых желаниях, должно превзойти жалобы гения. Часто, после того, как Луи долго созерцал листву одного из тополей на дворе, он говорил мне только одно слово, но это слово раскрывало необъятную мечту.

— К счастью, — воскликнул он однажды, — у меня бывают хорошие минуты, когда мне кажется, что стены класса рухнули и что я сам далеко, в полях! Какое наслаждение нестись по воле своей мысли, как мчится птица, увлеченная полетом! Почему зеленый цвет так распространен в природе? — спрашивал он меня. — Почему там так мало прямых линий? Почему в творениях человека так мало кривых? Почему только человек ощущает прямую линию?

Эти слова говорят о долгих блужданиях по широким просторам. Конечно, перед ним снова развертывались картины природы, он снова вдыхал аромат лесов. Он сам был живой трепетной элегией, всегда молчаливый, готовый претерпеть все; он всегда страдал, не имея возможности сказать: «Я страдаю!» Этот орел, который хотел насыщаться всем миром, жил в четырех узких и грязных стенах; так его жизнь стала в самом широком значении этого выражения жизнью идеальной. Полный презрения к почти бесполезным занятиям, на которые мы были обречены, Луи шел своей воздушной дорогой, совершенно оторвавшись от окружавших его вещей. Повинуясь свойственному детям стремлению подражать, я старался согласовать свое существование с его жизнью. Луи особенно сильно заражал меня страстью к тому полудремотному состоянию, в которое погружает тело глубокое созерцание, потому что я был молод и впечатлителен. Мы привыкли, подобно любовникам, думать вместе, сообщать друг другу наши мечты. Его интуитивные ощущения уже и тогда были так же остры, как прозрение мысли у великих поэтов, и часто приближались к безумию. Однажды он спросил:

— Можешь ли ты, как я, помимо своей воли, чувствовать воображаемые страдания? Например, когда я напряженно думаю о том, что я буду ощущать, если лезвие моего перочинного ножа войдет мне в тело, я начинаю чувствовать такую острую боль, как если бы я себя действительно порезал: не хватает только крови. Но это чувство возникает и охватывает меня внезапно, как шум, нарушающий глубокое молчание. Мысль может причинить физические страдания! Ну, что ты на это скажешь?

Когда он высказывал подобные мысли, мы оба погружались в наивные мечты. Мы пытались искать в нас самих неописуемые явления, относящиеся к возникновению мысли, которую Ламбер надеялся проследить в ее малейших проявлениях, чтобы когда-нибудь иметь возможность описать неведомый инструмент. Потом, после споров, часто очень ребячливых, из глаз Ламбера вырывался пылающий взгляд, он сжимал мою руку и в самых глубинах своей души находил слово, которым пытался выразить все до конца.

— Мыслить — значит видеть! — сказал он мне однажды, возбужденный одним из наших соображений по поводу самих основ психической организации человека. Все человеческое знание основывается на дедукции, на медленном движении от причины к следствию и от следствия к причине. В отличие от этого, стремясь к более широкому выражению, вся поэзия, как и всякое произведение искусства, проявляется в мгновенном охвате явлений.

Он был спиритуалистом; но я осмеливался противоречить ему, вооружившись его же собственными наблюдениями над чисто физической основой разума. Оба мы были правы. Быть может, материализм и спиритуализм выражают две стороны одного и того же факта. Исследования Ламбера о субстанции мысли заставляли его со своеобразной гордостью принимать жизнь, полную лишений, на которую нас обрекали леность и пренебрежение к школьным занятиям. У него было сознание собственной ценности, которое поддерживало в нем стремление мыслить и рассуждать. С какой нежностью ощущал я воздействие его души на мою! Сколько раз мы сидели на нашей скамейке, читая одну и ту же книгу и, не разлучаясь, забывали друг о друге, но в то же время чувствовали, что оба вместе мы погружены в океан идей, как две рыбы, плавающие в одних и тех же водах! Извне наша жизнь казалась растительной, но мы существовали только сердцем и разумом! Чувства и мысли были единственными событиями нашей школьной жизни.

Ламбер так сильно влиял на мое воображение, что я до сих пор чувствую это влияние. Я слушал его рассказы, погружавшие в атмосферу чудесного, с таким же наслаждением и жадностью, с каким и дети и взрослые поглощают сказки, в которых действительность принимает самые нелепые формы. Его страсть к таинственному и естественная в детском возрасте доверчивость заставляли нас часто говорить о рае и аде. Тогда Луи, объясняя мне Сведенборга, пытался заставить меня разделить его верования в ангелов. В самых ложных рассуждениях Ламбера встречались и тогда изумительные наблюдения над могуществом человека; именно они придавали его словам тот облик правдивости, без которого ничего нельзя создать ни в каком искусстве. Он рисовал романтический конец судьбам человечества, и это подогревало его склонность отдаваться верованиям, свойственным девственному воображению. Разве не в эпоху своей юности народы создают себе идолов и догмы? А сверхъестественные существа, перед которыми они трепещут, — разве они не воплощают в преувеличенном виде их собственные чувства, их потребности? То, что осталось в моей памяти от моих поэтических разговоров с Ламбером относительно шведского пророка, произведения которого позже я прочел из любопытства, может быть кратко сведено к следующему.

В человеке соединяются два различных существа. По Сведенборгу, ангел — это человек, в котором духовное существо победило материальное. Если человек хочет следовать призванию быть ангелом, он должен, как только мысль раскроет ему двойственность его бытия, стремиться развивать тончайшую природу живущего в нем ангела. Если ему не удалось обрести просветленное знание своего будущего, он дает возможность возобладать материальному началу вместо того, чтобы укреплять свою духовную жизнь, все его силы уходят на игру внешних чувств, и от материализации этих двух начал ангел постепенно погибает. В противном случае, если человек будет поддерживать свой внутренний мир необходимыми ему эссенциями, дух начинает преобладать над материей и пытается от нее отделиться. Когда это отделение происходит в той форме, которую мы называем смертью, ангел достаточно сильный, чтобы освободиться от своей оболочки, продолжает существовать и начинает свою настоящую жизнь. Наличие бесконечного числа отличающихся друг от друга индивидуальностей может быть объяснено только этой двойственностью бытия, они дают возможность понять и доказать ее. Действительно, расстояние между человеком, чей бездеятельный ум обрекает его на очевидную тупость, и тем, кого внутреннее зрение одарило известной силой, заставляет нас предположить, что между гениальными людьми и остальными может существовать такая же разница, какая отделяет зрячих от слепых. Эта мысль, бесконечно расширяющая мироздание, в некотором смысле дает ключ к небесам. Внешне кажется, что на земле все эти существа смешаны друг с другом, на самом же деле они разделены на различные сферы в зависимости от совершенства их внутреннего мира. В этих сферах все различно: и нравы и язык.

В невидимом мире, так же как и в мире реальном, если какой-нибудь обитатель низшей сферы достигнет, не будучи достойным, высшего круга, он не только не понимает ни его привычек, ни бесед, но его присутствие парализует голоса и сердца высших существ. В *«Божественной комедии»* у Данте, быть может, была какая-то смутная интуиция этих сфер, которые начинаются в мире скорбей и поднимаются кольцеобразным движением до самых небес. Доктрина Сведенборга является созданием просветленного духа, рассказавшего о бесчисленных формах, в которых ангелы появляются среди людей.

Эту доктрину, которую я сегодня пытаюсь резюмировать, придав ей логический смысл, Ламбер изложил мне как обольстительное откровение, окутанное пеленой особой фразеологии, свойственной мифологам: туманные фразы, переполненные абстракциями, так же сильно воздействующими на мозг, как некоторые книги Якоба Бёме[[24]](#footnote-24), Сведенборга или госпожи Гийон, внимательное чтение которых пробуждает фантазии, многообразные, как мечты, порожденные опиумом. Ламбер рассказывал мне о таких странных мистических явлениях, так сильно поражал мое воображение, что у меня кружилась голова. Тем не менее я любил погружаться в этот таинственный, не постижимый для внешних чувств мир, в котором всем нравится жить, уносясь воображением или в неясные дали будущего, или в магические области сказки. Эти страстные отклики души на пережитые ею же впечатления, помимо моей воли, убеждали меня, насколько она сильна, и приучали к углубленному мышлению.

Что же касается Ламбера, он объяснял все своей теорией ангелов. Для него чистая любовь, такая любовь, о которой мечтают в юности, была встречей двух ангельских натур. Поэтому ничто не могло сравниться с тем пылом, с каким он мечтал встретить ангела-женщину. Кто лучше, чем он, мог внушить и чувствовать любовь? Что может дать представление об изумительной чувствительности, если не милая естественность и отпечаток доброты в его чувствах, словах, действиях, в каждом незначительном жесте, наконец, во взаимопонимании, которое связывало нас друг с другом и которое мы выражали, называя друг друга «фезанами». Не существовало никакого различия в том, что исходило от него и что исходило от меня. Мы взаимно копировали почерки, чтобы один мог делать урок за двоих. Когда один из нас заканчивал книгу, которую мы должны были вернуть учителю математики, он мог читать ее без всякой помехи в то время, как другой выполнял за него и урок и «пенсум». Мы делали уроки, точно платили налог, обеспечивающий спокойное существование. Если мне не изменяет память, когда их делал Ламбер, они часто были выполнены с исключительным совершенством. Но так как нас обоих считали за идиотов, то учитель проверял наши работы под влиянием рокового предубеждения и даже приберегал их, чтобы развлекать ими наших товарищей. Я вспоминаю, что однажды вечером, когда кончался урок, который длился от двух до четырех, учитель взял перевод Ламбера. Текст начинался: *Caius Gracchus, vir nobilis* [[25]](#footnote-25). Луи перевел: *у Кайя Гракха было благородное сердце*.

— Где вы видите «сердце» в слове *nobilis* ? — резко сказал учитель.

И все рассмеялись, в то время как Ламбер ошеломленно глядел на учителя.

— Что скажет госпожа баронесса де Сталь, узнав, что вы при переводе искажаете смысл слова, которое обозначает благородный род, патрицианское происхождение?

— Она скажет, что вы глупец! — вполголоса ответил я.

— Господин поэт, вы на восемь дней отправитесь в карцер, — ответил учитель, который, к несчастью, меня услышал.

Бросив на меня невыразимо нежный взгляд, Ламбер тихо повторил:

— *Vir nobilis.*

Именно госпожа де Сталь часто являлась источником несчастий Ламбера. По всякому поводу и учителя и ученики бросали ему в лицо это имя то с иронией, то с упреком. Луи сразу же постарался попасть в карцер, чтобы составить мне компанию. Там мы были свободнее, чем где бы то ни было, и могли разговаривать целыми днями. В молчаливых дортуарах у каждого ученика была ниша в шесть квадратных футов, на перегородках вверху были устроены решетки, и дверь с просветами запиралась каждый вечер и открывалась каждое утро под наблюдением отца-надзирателя, который был обязан присутствовать при нашем утреннем подъеме и при отходе ко сну. Слуги дортуаров необычайно быстро открывали двери, и скрип этих дверей был тоже одной из особенностей коллежа. Таким образом устроенные альковы служили нам карцерами, где нас иногда держали целыми месяцами. За учениками, помещенными в клетку, наблюдал острый взгляд начальника, надзирателя, который легким шагом приходил и в определенные часы и неожиданно, чтобы проследить, не болтаем ли мы вместо того, чтобы выполнять свои «пенсумы». Но ореховая скорлупа, разбросанная по лестницам, тонкость нашего слуха позволяли нам всегда предвидеть приход надзирателя, и мы могли без всякой помехи отдаваться своим любимым занятиям. Так как чтение нам было запрещено, часы карцера обычно отдавались метафизическим дискуссиям или рассказам о кое-каких любопытных случаях, относившихся к чудесным проявлениям мысли.

Я хочу рассказать один из самых удивительных фактов не только потому, что он относится к Ламберу, но еще и потому, что этот факт решил его научную судьбу. Согласно обычным правилам коллежей, воскресенье и четверг были днями отдыха; но церковные службы, на которых мы обязаны были присутствовать, так заполняли воскресенья, что мы считали четверг нашим единственным праздничным днем.

Прослушав мессу, мы могли располагать временем для долгих прогулок по полям, в окрестностях Вандома. Замок Рошамбо был излюбленнейшим местом для наших экскурсий, может быть, потому, что находился далеко. Младшие редко совершали такую утомительную прогулку; все же учителя раз или два в год предлагали нам поход в Рошамбо в качестве награды. В 1812 году, весной, мы должны были пойти туда в первый раз. Желание видеть знаменитый замок Рошамбо, хозяин которого давал иногда ученикам молока, заставило всех нас вести себя примерно. Итак, ничто не помешало прогулке. Ни я, ни Ламбер не знали долины Луара, где было построено это здание. Поэтому и его и мое воображение было еще накануне весьма возбуждено предстоящей прогулкой, которой обычно радовались в коллеже. Мы говорили о ней весь вечер и собирались истратить на фрукты и молочные продукты деньги, которые нам удавалось приберечь вопреки вандомским законам. На другой день после обеда, в половине первого, мы отправились, получив по кубическому куску хлеба, предназначавшемуся для полдника. Потом легкие, как ласточки, мы шли толпой к знаменитому замку с таким пылом, что долго не чувствовали усталости. Когда мы взобрались на холм, откуда можно было любоваться замком, расположенным на середине склона, и извилистой долиной, где сверкала река, извиваясь, как змея, по красиво закругленной лужайке, и изумительным пейзажем, исполненным невыразимого очарования, одним из тех, с которыми связываются яркие воспоминания юности или любви и которые позже не следует пытаться увидеть снова, Луи Ламбер сказал мне:

— Но я видел все это сегодня ночью во сне!

Он узнал и группу деревьев, под которыми мы остановились, расположение рощи, цвет речной воды, башню замка, неровности почвы, далекие просторы, наконец, все детали этого пейзажа, который сегодня он видел в первый раз. И он и я — мы, конечно, были детьми; я-то безусловно: ведь мне не было еще тринадцати; в пятнадцать лет Луи мог мыслить глубоко, как истинный гений, но, во всяком случае, в эту эпоху наша дружба была так сильна, что мы не могли лгать друг другу даже в мелочах. Если Ламбер предчувствовал благодаря всемогуществу своей мысли значение фактов, он был далек от того, чтобы оценить их во всем объеме; так что сначала он просто удивился. Я спросил его, не ездил ли он в Рошамбо в детстве. Мой вопрос поразил его, но, проверив свои воспоминания, он ответил отрицательно. Этот случай, аналогичные которому можно найти в снах многих людей, дает возможность понять первые пробудившиеся способности Ламбера; действительно, он сумел вывести из этого настоящую систему; вооружившись обрывком мысли, он построил целую теорию, как сделал Кювье[[26]](#footnote-26) совсем в другой области.

Мы уселись под старым дубом. После нескольких минут размышления Луи сказал:

— Если пейзаж не пришел ко мне, что было бы нелепо думать, значит, я приходил сюда. Если же я был здесь в то время, когда спал у себя в алькове, разве это не доказывает полнейшее отделение моего внутреннего «я» от моего тела? Разве это не свидетельствует о какой-то способности духа к передвижению или о духовных явлениях, соответствующих передвижению тела? Если же мой дух и мое тело могли разделиться во время сна, почему я не могу отделить их совершенно так же во время бодрствования? Я не вижу никакого компромиссного решения для этих двух положений. Но пойдем дальше, исследуем детали. Или все эти факты свершились благодаря силе, приводящей в движение другое существо, для которого мое тело служит футляром, потому что я лежал в алькове и в то же время видел пейзаж, — а это опрокидывает множество систем; или этот факт произошел в каком-нибудь нервном центре, где бушуют чувства, но название которого еще надлежит узнать, или в том мозговом центре, где кипят идеи. Эта последняя гипотеза приводит к весьма странным вопросам. Я ходил, я видел, я слышал. Движение нельзя мыслить без пространства, звук действует только в углах и на поверхностях, а окраска не ощущается без света. Если ночью, с закрытыми глазами я видел в самом себе окрашенные предметы, если я слышал шум в абсолютной тишине и без тех обязательных условий, при которых он формируется, если, будучи совершенно неподвижен, я преодолел расстояние, значит, у нас есть духовные способности, независимые от внешних физических чувств. Неужели дух может проникнуть в материальную природу? Почему же люди так мало размышляли до сих пор о событиях во сне, доказывающих, что человек живет двойной жизнью? Разве в этом явлении не заключается новой науки? — прибавил он, сильно хлопая себя по лбу. — Но если это явление не может быть положено в основу новой науки, то оно, несомненно, свидетельствует об огромных возможностях человека и, во всяком случае, показывает, насколько часто совершается разъединение наших двух существ, факт, над которым я так давно бьюсь. Я нашел, наконец, свидетельство превосходства, отличающего наши скрытые чувства от явных. Homo duplex![[27]](#footnote-27) Но, — сказал он после паузы, выражая сомнение бессознательным жестом, — может быть, в нас и нет двойной природы? Быть может, мы просто одарены внутренними качествами, могущими совершенствоваться, упражнение и развитие которых дает нам возможность активности, проникновения, видения вещей, которые еще не были в поле нашего зрения? Одержимые любовью к чудесному, страстью, порожденной нашей гордыней, мы превратили эти явления в поэтическое творчество, потому что мы их не понимаем. Так легко обожествлять непонятное! Ах! Признаюсь, я бы оплакивал потерю моих иллюзий. У меня потребность верить в двойственность человеческой природы и в ангелов Сведенборга! Неужели это новое знание их убьет? Да, исследование наших неведомых способностей предполагает, казалось бы, материалистическую науку, ибо *дух* употребляет, разделяет, воодушевляет субстанцию, но он не может ее разрушить.

Луи грустно задумался и замолчал. Быть может, юношеские мечты казались ему пеленками, от которых скоро придется освободиться.

— Зрение и слух, — несомненно, только футляры для чудесных инструментов, — сказал он, смеясь над собственным выражением.

В те мгновения, когда он мне говорил о рае и аде, он обычно рассматривал природу как властелин, но, произнося эти последние слова, насыщенные знанием, он смелее, чем всегда, парил над окрестностью, и его лоб, казалось мне, разрывался от напора его духовных сил; силы эти, которые следует называть духовными до какого-либо нового обозначения, казалось, вырывались через органы, предназначенные для их проявления: его глаза излучали мысль, его поднятая рука, его сомкнутые дрожащие губы говорили, его горящий взгляд излучал сияние. Он уронил внезапно отяжелевшую голову на грудь, точно устал от слишком бурного порыва. Этот ребенок, этот богатырь сгорбился, целиком захваченный лихорадочным стремлением к истине, взял меня за руку, сжал ее своей влажной рукой и после паузы сказал:

— Я буду знаменит! И ты тоже, — быстро прибавил он. — Мы оба создадим химию воли.

Какое благородное сердце! Я признавал его превосходство, но он всячески старался никогда не дать мне его почувствовать. Он делился со мной сокровищами своей мысли, считал моей какую-то часть своих собственных открытий и оставлял мне в полную собственность мои ничтожные соображения. Всегда ласковый, как любящая женщина, он проявлял свои чувства стыдливо, с той душевной деликатностью, которая делает жизнь блаженной и легкой.

На следующий же день он начал работу, которую назвал *«Трактат о воле»*. Однако его размышления часто изменяли и план и метод произведения. Но события этого торжественного дня, несомненно, стали его зародышем; точно так же у Месмера[[28]](#footnote-28) ощущение электрического тока при соприкосновении с пружиной стало основой открытий в магнетизме — науке, некогда скрытой в глубине таинственного культа Изиды, Дельфийского храма, пещеры Трофония и снова обретенной этим изумительным человеком непосредственно перед Лафатером[[29]](#footnote-29), предшественником Галля[[30]](#footnote-30). Освещенные внезапным светом, идеи Ламбера приняли более грандиозные пропорции; он разобрался в открытых им отдельных истинах и объяснил их; потом, как литейщик, он сплавил их воедино. После шести месяцев упорного труда работы Ламбера возбудили любопытство наших товарищей и стали предметом жестоких насмешек, приведших к роковым последствиям.

Однажды один из наших преследователей, пожелавший непременно увидеть наши рукописи, подбив еще и других мучителей, насильно завладел ящичком, где лежало сокровище, которое мы оба, и я и Ламбер, защищали с беспримерной храбростью. Ящик был заперт, и наши враги не смогли его открыть; но они попытались сломать его во время сражения; эта черная злоба заставила нас поднять громкий крик. Несколько товарищей, воодушевленные чувством справедливости или пораженные нашей героической защитой, советовали оставить нас в покое, подавляя своей назойливой жалостью. Внезапно, привлеченный шумом битвы, вмешался отец Огу, заинтересовавшись причиной спора. Наши противники отвлекли нас от наших «пенсумов», учитель пришел защитить своих рабов. Чтобы оправдать себя, нападающие сослались на существование рукописей. Неумолимый Огу приказал отдать ему ящик; если бы мы стали сопротивляться, он, пожалуй, велел бы разбить его, Ламбер отдал ему ключ, учитель взял бумаги, перелистал их, потом сказал нам, забирая их себе:

— Так вот та ерунда, из-за которой вы пренебрегаете своими обязанностями!

Крупные слезы покатились из глаз Ламбера; он плакал отчасти от унижения своего нравственного достоинства, отчасти от беспричинной обиды и угнетавшего нас предательства. Мы бросили на наших обвинителей укоряющий взгляд: ведь они предали нас общему врагу! Если они могли, согласно ученическому кодексу, бить нас, разве они не должны были молчать о наших проступках? Поэтому несколько минут им было стыдно собственной подлости. Отец Огу, по всей вероятности, продал рукопись *«Трактата о воле»* вандомскому лавочнику, не поняв важности научных сокровищ, неоформленные зародыши которых разошлись по рукам невежд.

Через шесть месяцев после этого я покинул коллеж. Не знаю, возобновил ли свою работу Ламбер, которого наша разлука повергла в черную меланхолию. В память этой катастрофы, происшедшей с книгой Луи, я использовал для начала своих исследований и для совершенно вымышленной истории название, придуманное Ламбером, и дал имя дорогой ему женщины молодой самоотверженной девушке; но это не единственное заимствование, которое я у него сделал: его характер, его занятия были мне очень полезны для этого сочинения, сюжет которого возник как воспоминание о размышлениях нашей юности.

Эта история написана с целью воздвигнуть скромный памятник тому, кто завещал мне все сокровища своей мысли. В своем детском труде Ламбер развил идеи взрослого человека. Десять лет спустя, встретившись с несколькими учеными, серьезно занимавшимися поразившими нас явлениями, которые Ламбер так чудесно проанализировал, я понял важность этих работ, забытых, как детская забава. Я провел много месяцев, вспоминая основные открытия моего бедного товарища. Собрав свои воспоминания, я могу утверждать, что еще в 1812 году он в своем трактате установил путем догадки и подверг обсуждению множество важных фактов, доказательства которых, по его словам, должны были рано или поздно обнаружиться. Его философские рассуждения, несомненно, давали возможность причислить его к великим мыслителям, появлявшимся через различные промежутки времени среди людей, чтобы открыть им в первоначальном виде принципы будущей науки, корни которой растут медленно, но затем приносят прекрасные плоды в мире разума. Так, бедный ремесленник Бернар, копавший землю, чтобы найти тайну эмали, утверждал в XVI веке с непререкаемым авторитетом гения геологические истины, доказательство которых создало в наши дни славу Бюффона и Кювье. Я надеюсь дать кое-какое представление о трактате Ламбера с помощью некоторых важнейших положений, составляющих его основу; но помимо своей воли я должен освободить их от тех идей, которыми окружил их Ламбер и которые были для них необходимыми спутниками. Так как я шел иными путями, я брал из его исследований только те, которые лучше всего помогали моей системе. Я только его ученик и не знаю, смогу ли точно передать его мысли, потому что я их ассимилировал и таким образом придал им свою собственную окраску.

Для новых идей нужны были новые слова или расширенное, распространенное, даже лучше сказать — утонченное значение их. Чтобы показать основу своей системы, Ламбер выбрал несколько обыденных слов, смутно выражавших его мысль. Слово *воля* определяло для него среду, где развивается мысль, или, если выразиться менее абстрактно, сгусток силы, с помощью которой человек может производить за пределами самого себя те действия, которые составляют его внешнюю жизнь. «Веление» — слово, заимствованное из рассуждений Локка[[31]](#footnote-31), обозначало тот акт, с помощью которого человек выражает свою *«волю»*. Слово *мысль* было для Ламбера существеннейшим продуктом воли, но выражало также *среду, где родятся идеи*, для которых она служит субстанцией. *Идея* — общее название для всех действий мозга — выражало акт, с помощью которого человек использует способность мыслить. Итак, *воля, мысль* обозначали творческие возможности; *воление, идея* являлись двумя производными. Воление казалось ему идеей, которая из абстрактной стадии перешла в конкретную, из своего жидкого состояния — в почти твердое, если только этими словами можно сформулировать суждения о вещах, которые так трудно разграничить. По его мнению, *мысль* и *идеи* — это движения и действия нашего духовного организма, так же как *воление* и *воля* представляют проявление внешней жизни.

Он считал, что *воля* первична, а *мысль* следует за ней; чтобы думать, надо хотеть, говорил он. Много живых существ живет на стадии *воли*, не доходя до стадии *мысли*. На севере — долговечность, на юге — кратковременность жизни; но так же на севере — оцепенение, на юге — непрестанное возбуждение воли, до того климатического пояса, где от излишнего холода или от излишней жары органы почти парализуются.

Своеобразное понятие *среды* было подсказано ему одним наблюдением, сделанным в детстве; он не подозревал его важности, но странность его должна была поразить утонченно-чувствительное воображение Луи. Его мать, хрупкая и нервная, очень нежная и любящая, была одним из тех созданий, в котором воплотилась женщина во всем совершенстве ее качеств, хотя судьба по ошибке бросила ее на дно общества. Воплощение любви, она все выстрадала и умерла молодой, всю себя отдав материнскому чувству. Ламбер, шестилетний мальчик, спал в большой колыбели около материнской кровати, но засыпал не всегда сразу и видел, как электрические искры срывались с ее волос, когда она их расчесывала. Пятнадцатилетний человек использовал для науки этот факт, который ребенку казался игрой, факт тем более неопровержимый, что этим свойством обладают почти все женщины, чья судьба трагична и непризнанные чувства стремятся себя выразить, а избыток сил — вырваться наружу.

В подтверждение своих определений Ламбер выставил в качестве великолепного вызова науке много требующих решения проблем, разрешения которых он предполагал найти, спрашивая самого себя: не входит ли принцип, рождающий электричество, как основа в тот особый флюид, откуда появляются наши идеи и наши воления? Не образуют ли волосы, которые обесцвечиваются, светлеют, падают, исчезают, в зависимости от различных ступеней рассеяния или кристаллизации мыслей, некую систему сосудов, то поглощающих, то выделяющих и движимых электрической силой? Являются ли токи нашей воли субстанцией, возникающей в нас и внезапно начинающей действовать под влиянием еще не подвергшихся наблюдению причин, и являются ли они более необычными, чем те токи, которые создает невидимый, неощутимый флюид или вольтов столб, воздействующий на нервную систему мертвеца? Формирование наших идей и их постоянное проявление, быть может, менее непонятны, чем испарения невидимых, но необыкновенно энергично действующих частиц, например мускусного зерна, которое как будто теряет их, но не уменьшается в весе. А если кожный покров нашей телесной оболочки имеет только защитные функции, только поглощает, только выделяет пот, реагирует на ощущения, то кровообращение и его аппарат, возможно, способствуют передаче волевых импульсов, как циркуляция нервного флюида способствует движению мысли. И, наконец, не является ли более или менее энергичный приток этих двух реальных субстанций результатом большего или меньшего совершенства в устройстве органов тела, устройстве, которое надлежит изучить всесторонне?

Установив эти принципы, он хотел разделить явления человеческой жизни на две серии различных моментов и настойчиво, с пламенной убежденностью требовал для каждой из них специального анализа. Действительно, проследив почти у всех существ два отличных друг от друга ряда изменений, он изображал их, даже просто принимал их как природную сущность и называл этот жизненный антагонизм: *действие* и *противодействие*.

— Желание, — говорил он, — это факт, целиком осуществляемый нашей волей, прежде чем он будет осуществлен во внешнем мире.

Таким образом, все наши воления и все наши идеи составляют *действие*, а вся сумма наших внешних проявлений — *противодействие*.

Позже, когда я прочел о сделанных Биша[[32]](#footnote-32) наблюдениях над дуализмом наших внешних чувств, я был точно оглушен воспоминаниями, увидев поразительное совпадение между идеями этого знаменитого физиолога и идеями Ламбера. Оба они умерли преждевременно, но оба одинаково шли к каким-то истинам. Склонность природы давать двойное назначение различным созидающим органам своих творений и двойное действие нашего организма, что в настоящее время является бесспорным фактом, обоснованным рядом ежедневно повторяющихся доказательств, подтверждает выводы Ламбера относительно *действия* и *противодействия*. Он обозначал понятие неведомого существа, действенного или внутреннего термином Species[[33]](#footnote-33), под которым подразумевалось таинственное единство волокон, определяющее зависимость различных возможностей мысли и воли, еще недостаточно исследованных; наконец, это неназванное существо, способное видеть, действовать, доводить все до конца, осуществлять все, прежде чем возникнут какие-нибудь материальные признаки, оно, чтобы соответствовать своей природе, не должно подчиняться ни одному из тех физических условий, с помощью которых существо противодействующее или внешнее — видимый человек — ограничено в своих проявлениях. Отсюда вытекало множество логических объяснений относительно самых странных по виду проявлений двойственности нашей природы и ряд поправок ко многим системам, одновременно правильным и ложным. Некоторые люди, заметив кое-какие явления естественной игры *«двойственного существа»*, были, как Сведенборг, увлечены за пределы действительного мира своей пылкой душой, влюбленной в поэзию, опьяненной божественным началом. И всем, не понимающим причин, восхищенным следствиями, хотелось обожествить этот внутренний орган, построить мистический мир. Отсюда и ангелы! Пленительная иллюзия, от которой не хотел отказаться Ламбер; он любовался этими ангелами даже в тот момент, когда меч его анализа обрезал их ослепительные крылья.

— Рай, — говорил он мне, — в конце концов только *потустороннее* существование наших усовершенствованных способностей, а *ад* — небытие, в котором исчезают качества несовершенные.

В те века, когда познание подчинялось религиозным и спиритуалистическим впечатлениям, господствовавшим в промежутке между Христом и Декартом[[34]](#footnote-34), между верой и сомнением, можно ли было удержаться от объяснения нашей внутренней природы иначе, как божественным вмешательством? У кого же, как не у самого бога, ученые могли искать объяснения невидимому существу, столь действенно и противоречиво чувствительному, наделенному такими многогранными свойствами, способными совершенствоваться под влиянием обычаев, и столь могущественному под властью определенных оккультных условий, что временами оно с помощью видений и передвижений уничтожало расстояние в обоих аспектах пространства и времени, из которых одно — это расстояние умственное, а другое — расстояние физическое? Это существо обладало способностью реконструировать прошлое, проникая в него взглядом или таинственно воскрешая его, что похоже на способность человека узнавать по очертаниям, оболочке, зародышу зерна прежнее цветение растения с бесчисленным разнообразием оттенков, ароматов и форм; оно же, хотя и не совсем точно, могло догадываться о будущем то с помощью изучения первопричин, то благодаря физическому предчувствию.

Другие люди, менее поэтически религиозные, холодные и рассудочные, даже, может быть, шарлатаны, энтузиасты не столько сердцем, сколько разумом, признавая некоторые отдельные явления, считали их бесспорными, но не рассматривали как излучения из одного общего центра. Каждый из них хотел создать из простого отдельного факта науку. Отсюда и произошли демонология, астрология, колдовство, гадание, основанные на случаях, по существу, неопределенных, потому что они изменяются в зависимости от темпераментов, смотря по обстоятельствам, еще совершенно не изученным. Но так же из этих научных ошибок и из церковных процессов, в которых благодаря своим собственным способностям погибло столько мучеников, возникли блестящие доказательства чудесного могущества, которым располагает *действенное существо* и которое, по мысли Ламбера, может полностью изолироваться от *существа противодействующего*, разбить его оболочку, разрушить стены, ограничивающие его всемогущее зрение. Это явление, по словам миссионеров, индусы называют tokeïade; потом действенное существо с помощью других способностей может различить в мозгу, несмотря на его самые плотные извилины, идеи, которые там формируются или сформировались, и весь пройденный сознанием путь.

— Если видения возможны, — говорил Ламбер, — они должны происходить благодаря способности постигать идеи, изображающие человека в его чистой субстанции, жизнь которого, быть может, неразрушимая, непостижима для наших внешних чувств, но может сделаться ощутимой для внутреннего существа, когда оно доходит до высокой ступени экстаза или до полного совершенства видения.

Я знаю, но теперь уже смутно, что, следуя шаг за шагом за результатами мысли и воли во всех их разновидностях, установив их законы, Ламбер отдал себе отчет во множестве явлений, которые до сих пор справедливо считались непонятными. Таким образом, колдуны, одержимые, люди двойного зрения и всякого рода демонические натуры, жертвы эпохи средневековья оказывались предметом такого естественного объяснения, что зачастую сама простота его представлялась мне залогом истины. Удивительные способности, за которые ревнивая к чудесам римско-католическая церковь карала костром, были, по мнению Луи, результатом некоторого родства между основополагающими началами материи и мысли, происходящими из одного источника. Человек с ореховой палочкой в руке, найдя родниковую воду, подчинялся какому-то непонятному ему самому притяжению или отталкиванию; и именно необычность таких явлений обеспечила некоторым из них историческую достоверность. Таинственные притяжения наблюдались очень редко. Они выражаются в удовольствии, о которых редко говорят люди, счастливые, что одарены ими, упоминая о них разве только вследствие какой-нибудь необычайной странности данного случая, всегда тайно, в совершенно интимной обстановке, где все забывается. Но отталкивание возникает, если имеется нарушенное сродство, и его всегда удачно подмечали, когда дело шло о знаменитых людях. Так, у Бейля начинались конвульсии, когда он слышал, что вода бьет ключом. Скалигер бледнел при виде кресса. У Эразма от запаха рыбы поднималась температура. Эти три случая отталкивания вызывались водяными субстанциями. Герцог д'Эпернон падал в обморок при виде зайчонка, Тихо де Браге — лисицы, Генрих III — кошки, маршал д'Альбер — поросенка; все эти отталкивания были порождены животными испарениями, ощущаемыми часто на огромных расстояниях. Кавалер де Гиз, Мария Медичи и многие другие чувствовали себя плохо при виде всякой розы, даже нарисованной. Канцлеру Бэкону становилось дурно во время затмения луны, независимо от того, знал он или не знал, что оно происходит; и все время, пока оно продолжалось, его жизнь была в опасности, но он выздоравливал сразу, как только оно кончалось, и затем уже не чувствовал ни малейшего недомогания. Этих достоверных явлений отталкивания, выбранных из числа тех, которые случайно отмечены историей, достаточно, чтобы понять явления неведомых симпатий. Отрывок трактата, который я вспомнил из многочисленных заметок Ламбера, может дать представление о методе, каким он пользовался в своих произведениях. Я не считаю необходимым настаивать на связи с этой теорией сходных наук, изобретенных Галлем и Лафатером; они были ее естественным следствием, и всякий человек, слегка знакомый с наукой, заметит ответвления, которыми соединялись с нею френологические наблюдения одного и физиогномические документы другого. Открытие Месмера, столь важное и до сих пор еще недостаточно оцененное, могло уложиться целиком в развитии положений трактата Луи, хотя он и не был знаком с произведениями, кстати сказать, весьма сжато изложенными, знаменитого швейцарского врача. Простые логические выводы этих принципов заставили Ламбера признать, что с помощью сжатия внутреннего существа воля может сконцентрироваться, потом обратным движением быть выброшенной наружу и даже передаться материальным предметам. Таким образом, вся сила одного человека имеет возможность действовать на других, пронизывать их сущностью, чуждой их собственной, если они не защищаются от этого нападения. Свидетельства этой теоремы человеческого знания с необходимостью становятся все многочисленнее, но ничто не может доказать их подлинность. Нужны были или громкая катастрофа Мария и его обращение к Кимвру, который должен был его убить, или торжественный приказ некой матери флорентийскому льву, чтобы некоторые молниеносные удары мысли стали известны как исторические факты. Для Ламбера воля, мысль были *живыми силами*; и говорил он о них так, что вы начинали разделять его верования. Для него эти силы были в каком-то плане и видимы и ощутимы, мысль была медленной или быстрой, тяжелой или подвижной, ясной или темной; он приписывал ей все качества действующих существ, заставляя ее подниматься, отдыхать, пробуждаться, увеличиваться, стареть, сжиматься, отмирать, оживать; он постигал ее жизнь, определяя все ее действия необычными словами нашего языка, он констатировал внезапность, силу и другие качества с помощью особой интуиции, которая давала ему возможность распознать все явления этой субстанции.

— Часто среди спокойствия и молчания, — говорил он мне, — когда наши внутренние способности уснули, когда мы отдаемся блаженству отдыха, когда в нас все точно покрывается тьмой и мы погружаемся в созерцание внешнего мира, внезапно вырывается какая-то идея, с быстротой молнии проносится по бесконечным пространствам, понятие о которых нам дает наше внутреннее зрение. Эта блестящая идея, возникшая как блуждающий огонек, исчезает бесследно, ее существование так же эфемерно, как жизнь тех детей, которые приносят родителям и бесконечную радость и бесконечное горе; они похожи на мертворожденные цветы на равнинах мысли. Иногда идея вместо того, чтобы вырваться из нас с силой и умереть невоплощенной, начинает оформляться, колеблется в неизвестных туманностях тех органов, которые дали ей жизнь; она терзает нас длительными родами, развивается, делается плодовитой, вырастает во внешнем мире во всей прелести своей юности, украшенная всеми признаками долгой жизни; она выдерживает самые любопытные взгляды, привлекает их, никогда не утомляет; она требует обдумывания и вызывает восторг, как всякое тщательно обработанное произведение. Иногда идеи рождаются целыми роями, одна ведет за собой другую, они образуют некую цепь, они тревожат нас, они кишат, они словно охвачены безумием. То они поднимаются бледные, смутные, гибнут оттого, что им не хватает питания и силы, не хватает жизненной субстанции. То в какие-то особые дни они мчатся в бездну, чтобы осветить безмерные глубины; они пугают нас и подавляют нашу душу. Идеи образуют внутри нас целую систему, похожую на одно из царств природы, нечто вроде флоры, чья иконография будет составлена гением, которого, быть может, примут за безумца. Да, все и в нас и во внешней жизни свидетельствует о существовании чудесных созданий, которые я сравниваю с цветами, повинующимися неизвестно каким откровениям своей природы! Их деятельность, как самое существенное в человеке, не более удивительна, чем аромат и окраска в растениях. Может быть, ароматы тоже идеи! Если считать, что линия, где кончается мясо и начинается ноготь, заключает в себе необъяснимую невидимую тайну непрерывных превращений наших флюидов в роговицу, нужно признать, что нет ничего невозможного в чудесных изменениях человеческой субстанции. Но разве не бывает в нравственном мире явлений движения и притяжения, похожих на их физические соответствия? Можно взять, например, *ожидание*, которое могут ярко переживать все, оно становится таким тягостным только благодаря закону, по которому тяжесть всякого тела увеличивается в зависимости от скорости. Разве тяжесть чувства, которое порождает ожидание, не увеличивается непрерывным присоединением пережитых страданий к скорби данного момента? Наконец, чему, как не электрической субстанции, можно приписать магическое действие, с помощью которого воля властно сосредоточивается во взгляде, чтобы по приказу гения испепелить препятствия, звучит в голосе или просачивается, несмотря на лицемерие, сквозь человеческую оболочку? Поток этого властелина флюидов, который под высоким давлением мысли или чувства растекается волнами или иссякает, становится тоненькой струйкой, потом собирается, чтобы вновь разрядиться стрелами молний, — он и является оккультным орудием[[35]](#footnote-35), которому мы обязаны либо гибельными или благодетельными усилиями искусств и страстей, либо грубыми, ласковыми, устрашающими, сладострастными, раздражающими, обольстительными интонациями голоса, вибрирующими в сердце, во внутренностях или в мозгу, в зависимости от наших желаний; либо всеми возможностями осязания — источником движений мысли, управляющих творческими руками стольких художников, которым после бесчисленных, сделанных со страстным волнением набросков удается воссоздать природу; либо, наконец, бесконечным разнообразием взглядов, от бесцветного и бездейственного до сверкающего и способного устрашать. В этой системе никакие права бога не ущемляются. Материальная мысль раскрыла мне в нем новое величие!

Выслушав все его слова, приняв в душу его взгляд, как некое озарение, я не мог не принять с восторгом его убеждений, не мог не увлечься ходом его мыслей. Таким образом, *мысль* появлялась предо мной, как совершенно физическая сила в сопровождении своих бесчисленных порождений. Она была новой человечностью, выражавшейся в новой форме. Простого обзора законов, которые Ламбер считал формулой нашего мышления, вполне достаточно, чтобы вообразить чудодейственную активность, с какой его душа поглощала самое себя. Луи искал доказательств своим принципам в истории великих людей, жизнь которых, рассказанная нам биографами, дает ряд любопытных деталей насчет того, насколько действенной могла быть их мысль. Его память дала ему возможность вспомнить те факты, которые могли помочь развитию его утверждений. Он разместил их в тех главах, где они могли служить примерами, и, таким образом, многие из его изречений приобретали характер почти математической достоверности. Произведения Кардано[[36]](#footnote-36), человека, обладавшего удивительной силой прозрения, дали ему драгоценный материал. Он не забыл ни Аполлония Тианского[[37]](#footnote-37), предсказавшего в Азии смерть тирана и описывавшего его муки в тот самый момент, когда все это происходило в Риме, ни Плотина[[38]](#footnote-38), который почувствовал, что Порфирий собирается убить себя, и прибежал к нему, чтобы отговорить его, ни факта, отмеченного в предыдущем (XVIII) столетии при господстве самого язвительного неверия, какое только можно встретить, факта, потрясающего людей, привыкших делать из сомнения оружие против него же самого, но совершенно простого для некоторых верующих: Альфонс-Мария де Лигуори, епископ Святой Агаты, дал последнее напутствие папе Ганганелли, который его видел, слышал и отвечал ему; а в то же время, на очень большом расстоянии от Рима, у себя дома, в кресле, где он обычно сидел, возвратившись после церковной службы, епископ был погружен в экстаз. Вернувшись к обычной жизни, он увидел, что все слуги стоят вокруг него на коленях, считая его мертвым. «Друзья мои, — сказал он им, — святой отец только что испустил дух». Через два дня прибывший курьер подтвердил эту новость. Час смерти папы совпал с тем часом, когда епископ пришел в себя. Ламбер не пропустил и одного приключения, еще более близкого по времени, случившегося в последнем столетии с молодой англичанкой, которая, страстно любя одного моряка, отправилась к нему из Лондона и нашла его одного, без проводника, в пустыне Северной Америки, где очутилась как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Луи использовал мистерии античности, деяния святых мучеников, в которых он нашел самые прославленные примеры силы человеческой воли, демонологию средних веков, криминальные процессы, медицинские исследования, с изумительной проницательностью отыскивая повсюду истинные происшествия, вероятные явления. Эта богатая коллекция научно обоснованных фактов, выбранных из огромного количества книг, в большинстве случаев достойных доверия, несомненно, была употреблена на бумажные пакеты; и этому труду, по меньшей мере любопытному, порожденному самой удивительной человеческой памятью, суждено было погибнуть. Среди доказательств, обогащавших труд Ламбера, была одна история, случившаяся в его семье, история, которую он рассказал мне, прежде чем начал писать свой трактат. Этот факт, относящийся к «запредельному бытию» внутреннего существа, — если я могу позволить себе выковать новое слово, чтобы обозначить еще не названное явление, — поразил меня так сильно, что я все запомнил. Отец и мать Ламбера должны были вести процесс, проигрыш которого мог запятнать их честь, единственное сокровище, которым они обладали в жизни. Они были в величайшем страхе, когда шел вопрос о том, придется ли уступить несправедливым требованиям истца, или удастся защититься от его домогательств. Совещание произошло осенней ночью у очага, топившегося торфом, в комнате дубильщика и его жены. На это совещание были приглашены двое-трое родственников и прадед Луи со стороны матери, старик рабочий, совсем дряхлый, но со строгим и величественным выражением лица, светлыми глазами и редкими прядями седых волос, еще сохранившихся на пожелтевшем от старости черепе. Подобно «оби» у негров или «сагаморы» у дикарей, он был чем-то вроде оракула, с которым советовались в исключительно важных случаях. Его владения обрабатывались внуками, которые кормили его и ухаживали за ним; он им предсказывал дождь и хорошую погоду и указывал время, когда они должны были косить или увозить сжатый хлеб. Точность его барометрических указаний стала широко известной и еще больше усилила доверие и уважение, которым его окружали. Он целыми днями неподвижно сидел на стуле. Это состояние экстаза стало для него обычным после смерти жены, к которой у него была самая живая и самая прочная привязанность. Спор шел при нем, и он, казалось, не уделял ему большого внимания.

— Дети мои, — сказал он им, когда его попросили сообщить свое мнение, — это дело слишком серьезное, чтобы я мог решить его один. Мне нужно посоветоваться с женой.

Старик встал, взял свою палку и вышел, оставив всех в полном удивлении и в уверенности, что он впал в детство. Но вскоре он вернулся и сказал:

— Мне не пришлось идти до кладбища, ваша мать шла мне навстречу, я встретил ее у ручья. Она мне сказала, что вы найдете у одного нотариуса в Блуа квитанции, которые дадут вам возможность выиграть процесс.

Эти слова были произнесены твердым голосом. Все поведение и выражение лица деда говорили о том, что такие явления были для него привычны. Действительно, указанные квитанции были найдены, и процесс не состоялся.

Эта история, происшедшая под отчим кровом на глазах Луи, которому тогда было девять лет, во многом способствовала его вере в чудесные видения Сведенборга, давшего в течение своей жизни несколько доказательств могущества призраков, появившихся перед его внутренним существом. Становясь взрослее, по мере того, как развивался его ум, Ламбер должен был искать в законах человеческой природы причин чуда, с детства привлекшего его внимание. Каким именем назвать случай, который собрал вокруг него факты, книги, относящиеся к этим явлениям, и сделал его одновременно и сценой и актером для величайших чудес мысли? Луи имел бы право на славу даже в том случае, если бы он в пятнадцатилетнем возрасте выдвинул только одно-единственное следующее психологическое положение: «События, которые выражают действия человечества и являются продуктом его ума, имеют причины, в которых они предугаданы, как наши действия совершаются в наших мыслях прежде чем найдут внешнее выражение; предчувствия или пророчества — это первый намек на эти причины», — и тогда я полагал бы, что нужно оплакивать в его лице потерю гения, равного Паскалю, Лавуазье и Лапласу. Быть может, химерические представления об ангелах слишком долго господствовали над его работами; но разве, стараясь сделать золото, алхимики незаметно для себя не создали химию? И все же, если позже Ламбер изучал сравнительную анатомию, физику, геометрию и другие науки, которые имели связь с его открытиями, у него, несомненно, было намерение собрать факты и сделать анализ их, а это единственный факел, который может провести нас через самые темные и неуловимые области бытия. У него, конечно, было слишком много здравого смысла, чтобы оставаться в тумане теорий, которые можно изложить в нескольких словах. Разве в настоящее время самый простой опыт, опирающийся на факты, не более драгоценен, чем самые прекрасные системы, обоснованные более или менее остроумными доводами? Но так как я не общался с ним в ту эпоху его жизни, когда его размышления были более продуктивными, я могу только предполагать, основываясь на первых его мыслях, как велико было значение его произведений.

Легко понять, в чем была слабость «Трактата о воле». Хотя Ламбер и был одарен качествами, отличающими исключительных людей, он все же был ребенком. Хотя он уже умел отвлеченно мыслить, притом весьма искусно и многообразно, в его уме еще жили пленительные верования, всегда близкие молодым людям. Его концепции приближались к зрелости гения лишь в некоторых пунктах, в подавляющем же большинстве случаев они находились только в зародыше. Для некоторых умов, влюбленных в поэзию, самый большой недостаток Ламбера показался бы обаятельным. В его творении сохранились следы колебаний этой прекрасной души между двумя великими принципами: спиритуализмом и материализмом; сколько мощных гениев переживали эту душевную борьбу, и ни один из них не посмел слить их воедино! Сначала Ламбер был чистым спиритуалистом, но он с необходимостью вынужден был признать материальность мысли. Переубежденный фактами, установленными анализом в тот самый момент, когда его сердце было полно нежности к рассеянным облакам в небесах Сведенборга, он еще не находил в себе сил создать целостную, строгую, отлитую воедино систему. Отсюда и возникли некоторые противоречия, проявившиеся даже в беглом очерке, который я пишу о его первых опытах. Хотя его работа не была закончена, не являлась ли она черновиком науки, тайны которой он мог бы исследовать впоследствии, а также утвердить основы, изучить, вывести и связать воедино ее следствия?

Через шесть месяцев после конфискации «Трактата о воле» я покинул коллеж. Наша разлука была внезапной. Моя мать, обеспокоенная тем, что у меня все время держалась повышенная температура, и еще тем, что из-за отсутствия физических упражнений появились признаки коматозного состояния, взяла меня из коллежа, оформив все за четыре-пять часов. При известии о моем отъезде Ламбера охватила жестокая скорбь. Мы спрятались, чтобы поплакать.

— Увижу ли я тебя когда-нибудь? — нежно говорил он мне, сжимая меня в объятиях. — Ты-то будешь жить, — продолжал он, — но я умру. Если я смогу, я явлюсь тебе.

Только молодой человек может произнести подобные слова с выражением такой убежденности, что они воспринимаются как предсказание, как обещание, ужасного исполнения которого следует лишь опасаться. В течение долгого времени меня преследовала неясная мысль об этом обещанном мне явлении. Бывают такие дни хандры, сомнений, ужаса, одиночества, когда я должен гнать от себя воспоминания об этом меланхолическом прощании, которое тем не менее оказалось не последним. Когда я шел через двор к выходу, Ламбер прижался к одному из закрытых решеткой окон столовой, чтобы увидеть, как я буду проходить. По моему желанию, мать получила для Ламбера разрешение пообедать с нами в гостинице. Вечером я, в свою очередь, проводил его до рокового порога коллежа. Никогда любовник и любовница не проливали столько слез при расставании, как мы.

— Прощай же! Я буду один в этой пустыне, — сказал он, показывая двор, где две сотни детей играли и кричали. — Когда я вернусь усталый, полумертвый после долгих путешествий по просторам моей мысли, в чьем сердце найду я отдохновение? Чтобы сказать тебе все, достаточно было одного взгляда. Кто же теперь поймет меня? Прощай! Лучше бы я никогда не встречал тебя, я бы не узнал многого из того, чего мне теперь будет так недоставать.

— А я, — отвечал я ему, — что будет со мной? Разве мое положение не ужасней? — И прибавил, хлопнув себя по лбу: — У меня здесь нет ничего такого, что могло бы меня утешить.

Он покачал головой изящно и вместе с тем грустно, и мы расстались. В этот момент Луи Ламбер был пяти футов и двух дюймов ростом, и больше он уже не вырос. Его лицо, ставшее особенно выразительным, свидетельствовало о доброте характера. Божественное терпение, развитое дурным обращением, постоянная сосредоточенность, которой требовала созерцательная жизнь, лишила его взгляд той дерзкой гордости, которая нравится в некоторых лицах и в которой наши учителя читали свое осуждение. Теперь на его лице ярко отражались мирные чувства, его пленительную ясность никогда не искажали ирония или насмешка, так как природная доброжелательность Луи смягчала в нем сознание силы и превосходства. У него были красиво очерченные, почти всегда влажные руки. Стройная фигура его могла служить моделью для скульптора, но наша серая, как железо, форма с золотыми пуговицами, короткие штаны придавали нам такой неловкий вид, что совершенство пропорций и мягкость очертаний тела Ламбера можно было увидеть только в бане. Когда мы плавали в нашей купальне на Луаре, тело Луи резко отличалось своей белизной от различных тонов кожи наших товарищей, костеневших от холода, посиневших в воде. Его формы были изящны, позы грациозны, цвет кожи нежный; он не дрожал, выйдя из воды, может быть, потому, что избегал тени и стремился на солнце. Луи был похож на обладающие особой чувствительностью цветы, которые закрывают свои чашечки при малейшем ветерке и желают цвести только под безоблачным небом. Он ел очень мало, пил только воду; кроме того, то ли инстинктивно, то ли следуя своим вкусам, он был скуп на движения, требовавшие затраты сил; его жесты были сдержанны и просты, как у людей Востока или у дикарей, для которых серьезность — состояние естественное. Вообще он не любил ничего, что могло бы в его поведении показаться изысканным. Он обычно склонял голову налево и так часто сидел облокотясь, что рукава даже новой одежды быстро пронашивались. К этому наброску его портрета я должен прибавить очерк его нравственного облика, так как думаю, что теперь могу судить о нем беспристрастно.

Хотя Луи был религиозен по природе, он не признавал мелочной обрядности римско-католической церкви; его идеи были особенно близки к идеям святой Терезы, Фенелона, многих отцов церкви и некоторых святых, которые в наше время были бы объявлены еретиками и безбожниками. Во время церковной службы он держался безучастно. Он молился порывами, когда испытывал душевный подъем, и эти молитвенные настроения возникали нерегулярно; он полностью отдавался своей природе и не хотел ни молиться, ни думать в определенные часы. Часто в церкви он мог в такой же мере размышлять о боге, как и обдумывать какую-нибудь философскую идею. Иисус Христос был для него самым прекрасным примером его системы. Et Verbum caro factum est[[39]](#footnote-39) казались ему высокими словами, призванными выразить особенно наглядно традиционную формулу Воли, Слова, Действия. Христос не заметил своей смерти, божественными деяниями он довел свое внутреннее существо до такого совершенства, что его бестелесный облик мог появиться перед учениками, наконец, чудеса евангелия, магнетические исцеления Христа и способность говорить на всех языках как бы подтверждали учение Луи Ламбера. Я вспоминаю по этому поводу, как он говорил, что самая прекрасная работа, которую можно написать в наши дни, — это история первых лет церкви. Он никогда не был так поэтичен, как в те моменты, когда во время наших вечерних бесед начинал рассуждать о чудесах, сотворенных силой воли в эпоху великой веры. Он находил самые яркие доказательства своей теории почти во всех историях о мучениках в первом веке церкви, который он называл *«великой эрой мысли»*.

— Когда христиане героически переносили мучения во имя утверждения своей веры, разве не было явлений, доказывавших, — говорил он, — что материальные силы никогда не устоят перед силой идей или волей человека? Каждый может сделать вывод относительно своей воли на основании проявлений воли других людей.

Я думаю, что нет необходимости говорить о его мыслях, касающихся поэзии и истории, или шедевров, написанных на нашем языке. Не представляет большого интереса излагать здесь мнения, которые теперь стали почти общепринятыми, но в устах ребенка могли бы показаться необыкновенными. Луи во всем был на высоте. Чтобы в двух словах раскрыть его талант, достаточно сказать, что он мог бы написать «Задига» так же остроумно, как Вольтер; он мог бы так же сильно, как Монтескье, дать диалог между Суллой и Евкратом. Великая честность его идей выражалась прежде всего в том, что он желал, чтобы произведение его было полезно людям; в то же время его тонкий ум требовал такой же новизны мысли, как и формы. Все, что не выполняло этих требований, вызывало в нем глубочайшее отвращение. В памяти моей сохранилось одно из наиболее замечательных его литературных определений, которое может дать понятие о смысле всех других и одновременно показать ясность его суждений: «Апокалипсис — это записанный экстаз». Он рассматривал библию как отрезок традиционной истории допотопных народов, в которой приняло участие новое человечество. Для него мифология древних греков имела источником и еврейскую библию и священные книги Индии, но эта нация, влюбленная в красоту, пересказала все на свой лад.

— Невозможно, — говорил он, — сомневаться в приоритете священных книг народов Азии над нашим священным писанием. Для того, кто добровольно признает эту историческую истину, границы мира необычайно раздвигаются. Разве не на азиатском плоскогорье нашли убежище те немногие люди, которым удалось пережить катастрофу, поразившую наш земной шар, если, конечно, люди существовали до этого переворота или удара? Это очень серьезный вопрос, решение которого записано в глубине морей. Антропогония библии является только генеалогией роя, вылетевшего из человеческого улья, который повис на горных склонах Тибета, между вершинами Гималаев и Кавказа. Характер первоначальных идей той орды, которую ее законодатель назвал божьим народом, несомненно для того, чтобы скрепить ее единство, а, может быть, и для того, чтобы сохранить свои собственные законы и свою систему правления, ибо книги Моисея заключают в себе религиозный, политический и гражданский кодекс, — характер этот отмечен печатью ужаса: мощная мысль пророка объясняла сотрясение земного шара как месть свыше. И, наконец, поскольку этот народ не вкусил ни одной из тех радостей, которые дает жизнь на родной земле, злоключения кочевничества могли подсказать ему только мрачную, величественную и кровавую поэзию. В противоположность этому зрелище быстрых изменений к лучшему на лице земли, чудесное воздействие солнца, первыми свидетелями которого были индусы, внушили им смеющиеся картины счастливой любви, культ огня, бесчисленные образы воспроизведений жизни. Этих великолепных образов не хватает произведению еврейского гения. Постоянная необходимость сохранять самих себя, пережитые опасности и пройденные до места отдыха страны породили чувство исключительности в этом народе и ненависть к другим нациям. Эти три священных писания являются архивами погибших миров. Вот в чем тайна грандиозного величия их языков и мифов. Величавая человеческая история покоится под именами этих людей и местностей, под этими фантазиями, которые неодолимо привлекают нас, хотя мы и не знаем почему. Быть может, мы вдыхаем в них воздух древней родины нового человечества.

По мнению Ламбера, эти три литературы заключали в себе все мысли человека. С тех пор, с его точки зрения, не появлялось ни одной книги, содержания которой, хотя бы в зародыше, нельзя было в них найти. Этот взгляд показывает, насколько его первоначальное исследование библии было научно углубленным и куда это изучение его привело. Он всегда как бы парил над обществом, которое знал только по книгам, и потому судил о нем холодно.

— Законы, — говорил он, — никогда не препятствуют затеям знатных и богатых, но обрушиваются на слабых, которые, наоборот, нуждаются в покровительстве.

Его доброта не позволяла ему сочувствовать политическим идеям; но его система приводила к пассивной покорности, пример которой подал Иисус Христос. В течение последних дней моего пребывания в Вандоме Луи уже не подстегивала жажда славы, он уже в некотором смысле абстрактно насладился известностью; и после того как он вскрыл внутренности этой химеры, как древние жрецы, искавшие будущее в сердцах людей, он ничего в них не нашел. Презирая чисто личные чувства, он говорил мне: «Слава — это обожествленный эгоизм».

Здесь, быть может, заканчивая рассказ об этом необыкновенном детстве, я должен окинуть беглым взглядом все в целом.

Незадолго до нашей разлуки Ламбер сказал мне:

— Не говоря уже об общих законах нашего организма, формулировка которых, быть может, принесет мне славу, жизнь — это движение, которое выражается особо в каждом человеке: через мозг, через сердце или через нервы, в зависимости от неведомых нам влияний. От этих трех систем, названных такими обыденными словами, происходят бесчисленные разновидности человечества, которые являются результатом различных пропорций, где эти три основных начала скомбинированы с субстанцией, которую они впитывают в окружающей их среде.

Он остановился, хлопнув себя по лбу, и сказал мне:

— Странное явление! У всех великих людей, чьи портреты привлекли мое внимание, короткая шея. Может быть, природа хочет, чтобы у таких людей сердце было ближе к мозгу.

Потом он продолжал:

— Отсюда проистекает некоторая совокупность действий, которая составляет социальную жизнь. Человеку, живущему нервами, — действие или сила; человеку, живущему мозгом, — гений; человеку сердца — вера. Но, — добавлял он с грустью, — вере доступны лишь туманы святилищ, и только ангел достигает света.

Итак, следуя его собственным определениям, Ламбер целиком принадлежал сердцу и мозгу.

Для меня жизнь его разума расчленяется на три фазы.

С детства он был обречен на преждевременную активность, вызванную, несомненно, какой-нибудь болезнью или каким-нибудь особым совершенством его органов; с детства его силы выражались игрой внутренних чувств и чрезмерным развитием нервных флюидов. Как человек идеи, он хотел утолить жажду своего разума, стремившегося усвоить все идеи. Отсюда жажда чтения; а размышления над прочитанным дали ему возможность свести все идеи к их наиболее простому выражению, впитать их в себя, чтобы затем исследовать их сущность. Благие результаты этого замечательного периода, которых другие люди достигают только после длительных исследований, сказались у Ламбера в период его телесного детства: счастливого детства, расцвеченного удачными научными находками поэта. Срок, к которому большинство интеллектов достигает зрелости, для него оказался отправным моментом в поисках новых миров разума. Так, сам этого не сознавая, он создал себе жизнь, полную требовательности и жадно-ненасытную. Разве он не должен беспрерывно наполнять открывшуюся в нем самом бездну, только чтобы жить? Не мог ли он, подобно некоторым людям светского круга, погибнуть из-за недостатка пищи для своих чрезмерных обманутых желаний? И разве оргия, бушевавшая в его духовном мире, не должна была привести его к внезапному самосожжению, как тела, пресыщенные алкоголем? Эта первая фаза умственного развития Луи была мне неизвестна; только в настоящее время мне удалось объяснить таким образом ее чудодейственные плоды. Ламберу было тогда тринадцать лет.

К счастью, я мог наблюдать первые дни второго этапа. Ламбер, и это его, быть может, спасло, должен был пережить все несчастья жизни в коллеже, и он потратил на это чрезмерное изобилие своих мыслей. После того как он довел все идеи до их чистейшего выражения, слова до их идеальной субстанции, дошел от этой субстанции до основных принципов и все сумел абстрагировать, он, чтобы жить, устремился к другим творческим усилиям разума. Подавленный несчастьями существования в коллеже и кризисами своей физической жизни, он погрузился в раздумье, постиг чувства, приоткрыл завесу новых наук, создал настоящее сонмище идей. Остановленный на бегу, слишком слабый для того, чтобы созерцать высшие сферы, он посвятил себя самосозерцанию. Тогда он показал мне сражение мысли, возражающей самой себе, ищущей раскрытия тайн природы, как врач, изучающий развитие собственной болезни. В этом состоянии силы и слабости, детского очарования и сверхъестественного могущества только Луи Ламбер мог дать мне самую поэтическую и самую правдивую идею существа, которое мы называем ангелом; эту идею, правда, дала мне еще одна женщина, чье имя, черты, образ и жизнь я хотел бы скрыть от мира для того, чтобы быть единственным хранителем тайны ее существования и похоронить эту тайну в глубина моего сердца.

Третья фаза ускользнула от меня. Она началась после того, как я был разлучен с Луи, который вышел из коллежа только около середины 1815 года, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Примерно за шесть месяцев до окончания коллежа Луи потерял мать и отца. Не находя в семье никого, с кем он мог бы сблизиться душой, по-прежнему пылкой, но после нашей разлуки всегда подавленной, он нашел убежище у своего дяди и опекуна, который был изгнан из прихода, как присягавший в свое время республике, и поселился в Блуа. Луи жил там некоторое время. Очень быстро его охватило желание завершить свое образование, которое он считал незаконченным, и он отправился в Париж, чтобы повидаться с госпожой де Сталь и получить знания из самых высших источников. Старый священник, чувствовавший большую слабость к своему племяннику, позволил Луи истратить свое наследство за три года пребывания в Париже, хотя Ламбер и жил там в страшной нищете. Это наследство состояло из нескольких тысяч франков. Ламбер вернулся в Блуа к началу 1820 года, изгнанный из Парижа страданиями, на которые обречены люди без денег. В течение всего времени, когда он там жил, он, вероятно, был во власти тайных гроз, ужасных бурь мысли, которым подвержены люди искусства, если судить по единственному факту, оставшемуся в памяти его дяди, и по единственному письму из всех написанных Луи Ламбером в эту эпоху и сохраненному дядей, может быть, потому, что оно было последнее и самое длинное из всех.

Вот прежде всего факты. Луи был однажды во Французском театре и сидел на скамейке второй галереи, вблизи одного из тех столбов, где сейчас размещены третьи ложи. Поднявшись во время первого антракта, он увидел молодую женщину, которая только что вошла в соседнюю ложу. Вид этой женщины, молодой, красивой, хорошо одетой, может быть, декольтированной, вошедшей в сопровождении любовника, для которого ее лицо сияло всем очарованием любви, произвел на душу и чувства Ламбера такое мучительное впечатление, что он вынужден был выйти из зала. Если бы он не воспользовался последними отсветами разума, еще не погасшего окончательно, в первые моменты этой обжигающей страсти, может быть, он поддался бы возникшему тогда почти неодолимому желанию убить молодого человека, которому предназначались ее взгляды. Разве в нашем парижском свете это не было бы порывом любви дикаря, который бросается на женщину, как на свою добычу, проявлением животного инстинкта, слившимся с почти ослепительным порывом души, долгое время подавленной множеством своих мыслей? Наконец, разве это не было бы тем воображаемым ударом перочинного ножа, который когда-то был пережит ребенком и стал у взрослого человека молниеносным пробуждением самого властного требования любви?

Вот письмо, в котором он описывает состояние своей души, потрясенной зрелищем парижской цивилизации. Несомненно, эта бездна эгоизма постоянно оскорбляла его сердце, и он всегда страдал; быть может, он не встретил ни друзей, которые могли бы его утешить, ни врагов, создающих разнообразие жизни. Вынужденный постоянно жить в самом себе, не делясь ни с кем своими изысканнейшими наслаждениями, он, быть может, хотел достичь состояния постоянного экстаза, хотел жить почти растительной жизнью, как отшельники первых веков церкви, отказавшись от мира, управляемого разумом. Письмо, казалось, указывало на этот план, вдохновляющий все великие души в эпохи социального обновления. Но это решение было принято некоторыми из них в силу призвания. Разве не пытаются великие души сосредоточить свои силы в период долгого молчания, чтобы нарушить его, обретя способности управлять миром с помощью слова или действия? Конечно, Луи испытал много горечи среди людей и преследовал общество самой ужасной иронией, ничего из нее не извлекая, вот почему у него и вырвался такой отчаянный вопль, вот почему у этого бедняка явилось такое же желание, какое бывает у некоторых властителей вследствие пресыщения всем, даже властью. Быть может, он завершил в уединении какой-нибудь большой труд, неясные контуры которого скользили в его уме? Всякий охотно поверит этому, читая отрывки его мыслей, где раскрывается борьба его души в тот момент, когда для него кончалась юность и начинала расцветать роковая способность к творчеству, породившая произведения зрелого человека. Это письмо имеет непосредственную связь с тем, что произошло в театре. Факт и его описание взаимно объясняют друг друга, душа и тело звучат в одном тоне. Эта буря сомнений и утверждений, туч и просветов, которые прорезывает молния, часто кончается страстной жаждой небесного сияния и достаточно освещает третью эпоху его воспитания, чтобы можно было понять ее всю целиком. Читая эти небрежно набросанные строки, перечитанные и переделанные соответственно настроениям его парижской жизни, можно увидеть, как на дубе во время его внутреннего роста лопается красивая зеленая кожица, как она покрывается трещинами, шероховатостями и постепенно возникает величественный облик громадного дерева, если, конечно, небесный гром и человеческий топор пощадят его.

Этим письмом заканчиваются как для мыслителя, так и для поэта замечательное детство и не понятая никем юность. Здесь вырисовывается контур его нравственного зародыша; философы будут жалеть о листве, пораженной заморозками еще в почках; но, конечно, они увидят цветы, распустившиеся в областях более возвышенных, чем самые высокие места на земле.

Париж. Сентябрь — ноябрь 1819.

Дорогой дядя, я вскоре должен покинуть эти места, где не в состоянии жить. Здесь нет ни одного человека, который любит то, что я люблю, занимается тем, что меня увлекает, удивляется тому, что удивляет меня. Вынужденный жить самим собой, я углубляюсь в себя и страдаю. Долго и терпеливо изучал я общество и пришел к грустным выводам и глубоким сомнениям. Здесь отправная точка для всего — деньги. Нужны деньги даже для того, чтобы обходиться без них. Но, хотя этот металл необходим и для тех, кто хочет спокойно думать, я не чувствую в себе мужества сделать его единственным двигателем моих мыслей. Чтобы составить состояние, нужно выбрать поле деятельности, одним словом, купить с помощью некоторых привилегий положения или клиентуры, привилегий законных или умело созданных, право каждый день брать в чужом кошельке небольшую сумму, которая за год создаст небольшой капитал; этот капитал через двадцать лет даст человеку, живущему честно, не больше четырех или пяти тысяч франков ренты. За пятнадцать-шестнадцать лет, после окончания обучения, адвокат, нотариус, торговец — все терпеливые труженики — обеспечивают себе хлеб на старость. Я понял, что совершенно неспособен на что-нибудь подобное. Я предпочел мысль — действию, идею — деловому предприятию, созерцание — движению. У меня совершенно отсутствует сосредоточенное внимание, необходимое для желающих сделать карьеру. Всякое меркантильное предприятие, всякая необходимость требовать денег у других дурно кончится для меня, и я разорюсь. Если у меня ничего нет в данный момент, по крайней мере я ничего никому не должен. Нужно очень немного материальных средств для того, кто поставил своей целью свершение великих дел в области духовной; но хотя мне достаточно двадцати су в день, у меня нет средств для такого насыщенного трудом безделья. Если я хочу размышлять, материальные потребности выгоняют меня из святилища, где мечется моя мысль. Что будет со мной? Нищета меня не пугает. Если бы не сажали в тюрьму, не бесчестили, не презирали нищих, я бы охотно просил милостыню, чтобы спокойно решать те проблемы, которые меня интересуют. Но эта величайшая покорность, благодаря которой я мог бы развить мою мысль, освободив ее от тела, не может ничему помочь: опять-таки нужны деньги, чтобы произвести некоторые опыты. Если бы не это, я принял бы внешнюю нищету мыслителя, обладающего одновременно и землей и небом. Чтобы быть великим в бедности, достаточно никогда не унижаться. Человек, который борется и страдает, направляясь к благородной цели, — это, конечно, великолепное зрелище; но разве здесь у кого-нибудь хватит сил на борьбу? Можно карабкаться через скалы, но нельзя всегда топтаться в грязи. Здесь все мешает прямолинейному полету души, устремленной в будущее. Я бы не боялся жить в пещере посреди пустыни, но здесь я боюсь. В пустыне я жил бы сам собой, ничем не отвлекаясь; здесь человек ощущает бездну потребностей, которые его принижают. Когда вы выйдете на улицу, погруженный в мечты, занятый мыслями, голос бедняка призывает вас назад, в мир голода и жажды, прося у вас милостыню. Нужны деньги даже для того, чтобы погулять. Все органы без конца утомляются пустяками и никогда не отдыхают. Нервное возбуждение поэта все время разрушается, и то, что должно было стать его славой, становится мучением: воображение превращается в его злейшего врага. Здесь раненый рабочий, бедная женщина в родах, заболевшая проститутка, покинутый ребенок, старик инвалид, пороки, даже преступления находят убежище и внимание; в то же время мир беспощаден к изобретателю, ко всякому мыслителю. Здесь все должно иметь немедленный реальный результат; здесь смеются над опытами, неудачными вначале, которые могут привести к самым великим открытиям, не уважают постоянных глубоких исследований, которые требуют длительного сосредоточения сил. Государство могло бы оплачивать талант, как оно оплачивает войска; но оно боится быть обманутым человеком, живущим интеллектом, как будто тот в силах длительно разыгрывать гения, не будучи им на самом деле. Ах, дорогой дядя, когда уничтожили монастырское уединение у подножия гор под зеленой молчаливой тенью деревьев, разве не должны были построить убежища для страждущих душ, которые одной своей мыслью порождают движение вперед целых наций или подготовляют новое и плодотворное развитие какой-нибудь науки?

20 сентября.

Вы знаете, что меня привело сюда стремление к науке; я нашел здесь людей по-настоящему образованных, часто удивительных; но отсутствие единства в научных исследованиях уничтожает почти все их усилия. Ни обучение, ни науку никто не возглавляет. Вы слушаете в Музеуме профессора, доказывающего то, что на улице Сен-Жак назовут немыслимыми глупостями. Человек из Медицинского института осыпает пощечинами представителя Коллеж де Франс. Сразу после приезда я пошел слушать старого академика, который проповедовал пятистам молодым людям, что Корнель — это мужественный, гордый гений, что Расин нежен и элегичен, Мольер неподражаем, Вольтер в высшей степени умен, Боссюэ и Паскаль отчаянно сильны в рассуждениях. Профессор философии становится знаменит, объясняя, почему Платон это Платон. Другой составляет историю из слов, не заботясь об идеях. Тот объясняет вам Эсхила, другой с успехом доказывает, что городские коммуны были коммунами и ничем другим. Эти новые блестящие взгляды, пережевывающиеся по нескольку часов, и составляют то высшее образование, которое должно гигантскими шагами двинуть вперед человеческие знания. Если бы государство могло мыслить, я заподозрил бы его в том, что оно боится истинной гениальности, боится, что пробужденная гениальность подчинит общество разумной власти. Нации ушли бы вперед слишком далеко и слишком быстро; и на долю профессоров пришлась бы тогда роль дураков. Как же иначе объяснить преподавание без метода, без идеи будущего? Институт мог бы стать великим управлением мира, нравственности и разума, но он недавно был разрушен учреждением отдельных академий. Человеческие знания, следовательно, развиваются без руководства, без системы и направляются случайно, без намеченного пути следования. Эта небрежность, неуверенность существуют в политике так же, как в науке. В мире природы средства просты, а результат велик и чудесен; здесь же, в науке, как и в государстве, средства огромны, а результат ничтожен. Эта сила, которая в природе движется ровным шагом при постоянно увеличивающемся результате, эта всепроизводящая формула А + А разрушительна для общества. Современная политика противопоставляет одни человеческие силы другим, чтобы их нейтрализовать, вместо того чтобы комбинировать их и заставить действовать ради какой-то цели. Если говорить только о Европе от Цезаря до Константина, от маленького Константина до великого Аттилы, от гуннов до Карла Великого, от Карла Великого до Льва X, от Льва X до Филиппа II, от Филиппа II до Людовика XIV, от Венеции до Англии, от Англии до Наполеона, от Наполеона до Англии, я не вижу никакого постоянства в политике, и ее непрерывное кипение до сих пор не породило никакого прогресса. Нации демонстрируют свое величие либо памятниками, либо благополучием отдельных людей. Современные памятники могут ли равняться со старинными? Я сомневаюсь. Произведения искусства, непосредственно созданные отдельным человеком, творения ума или рук человека очень мало прогрессировали. Наслаждения Лукулла[[40]](#footnote-40) ничем не отличаются от наслаждений Самюэля Бернара[[41]](#footnote-41), Божона[[42]](#footnote-42) или баварского короля. Исчезло и человеческое долголетие. Если судить добросовестно, надо признать, что ничто не изменилось, человек остался тем же самым: сила для него — единственный закон, успех — единственная мудрость. Иисус Христос, Магомет, Лютер только раскрасили разными красками тот круг, по которому двигались молодые нации. Никакая политика не остановила цивилизации, ее богатства, ее нравов, ее идей, союза сильных против слабых, страсти кочевать из Мемфиса в Тир, из Тира в Бальбек, из Тедмора в Карфаген, из Карфагена в Рим, из Рима в Константинополь, из Константинополя в Венецию, из Венеции в Испанию, из Испании в Англию так, что никаких следов не осталось ни от Мемфиса, ни от Тира, ни от Карфагена, ни от былой славы Рима, Венеции и Мадрида. Дух покинул эти могучие тела. Никто не мог уберечься от разрушения, не мог догадаться о правильности аксиомы: *когда следствие потеряло связь с причиной, его породившей, наступает дезорганизация*. Самый проницательный гений не может найти связи между этими великими социальными явлениями. Ни одна политическая теория не оказалась вечной. Правительства проходят, как люди, не передавая друг другу никаких указаний, и ни одна система не породила системы более совершенной, чем предыдущая. Что можно сказать о политике, если правительства, опиравшиеся на бога, погибли и в Индии и в Египте; если правительства меча и тиары исчезли; если правление одного рушится, а правление всех никогда не могло просуществовать долго; ни одна концепция о силе ума в применении к материальным интересам не стала долговечной, и в настоящее время все требует переделки так же, как во все эпохи, когда человек кричал: «Я страдаю!» Кодекс, на который смотрят как на прекраснейшее дело Наполеона, — самый драконовский из всех, какие мне известны. Доведенная до бесконечности территориальная раздробленность[[43]](#footnote-43), в основе которой лежит разделение богатств поровну, должна породить вырождение нации, гибель искусств и наук. На слишком раздробленной земле культивируются только хлебные злаки и вообще невысокие насаждения; леса и многие источники исчезают; не растят больше ни быков, ни лошадей. Исчезают средства нападения и защиты. Начинается нашествие, народ раздавлен, он потерял свои лучшие орудия, он потерял своих вождей. Вот история пустынь! Политика, следовательно, это наука, не имеющая ни определенных начал, ни незыблемых основ; она — гений текущего момента, постоянное приложение силы в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Человек, который может провидеть на два века вперед, умрет на лобном месте, под проклятия народа, или же — а это, мне кажется, еще хуже — будет исхлестан бесчисленными насмешками. Нации — это тоже личности, не мудрее и не сильнее человека, и их судьбы сходны. Раздумывать о человеке — разве не значит заниматься народами? Зрелище этого общества, у которого так шатки, непрочны и основы и то, что на них воздвигается, и причины, и действия, общества, в котором филантропия — это великолепная ошибка, а прогресс — бессмыслица, подтвердило мне ту истину, что подлинная жизнь в нас, а не вне нас; что подняться над людьми, чтобы управлять ими, — это значит играть несколько расширенную роль классного руководителя; и что люди, достаточно сильные, чтобы подняться до той ступени, с которой они могут наслаждаться, окидывая взглядом миры, не должны смотреть на то, что лежит у их ног.

4 ноября.

Я занят, безусловно, серьезными мыслями, я иду к некоторым открытиям, непобедимая сила увлекает меня к свету, который с юных лет блистал в сумерках моей нравственной жизни; но как назвать ту силу, которая связывает мне руки, затыкает рот и тянет меня в противоположную сторону от моего призвания? Нужно покинуть Париж, попрощаться с книгами библиотек, прекрасными очагами света, попрощаться с учеными, снисходительными и доступными для общения, с юными гениями, с которыми я дружил. Что меня отталкивает? Может быть, случай, а может быть, провидение? Обе идеи, обозначенные этими словами, непримиримы друг с другом. Если случайности не существует, то надо принять фатализм или насильственную координацию всех фактов, подчиненных общему плану. Почему же мы сопротивляемся? Если человек не свободен, то чем становится здание его нравственного мира? А если он может строить свое будущее, если он по своему свободному выбору может остановить выполнение общего плана, то что же такое бог? Почему я явился в мир? Если я исследую самого себя, то я понимаю это: я нахожу в себе зародыши для развития; но тогда зачем же мне даны громадные способности, если не для того, чтобы их использовать? Если бы моя пытка стала для кого-нибудь примером, я бы согласился на продолжение ее. Но результат может быть таким же роковым, как судьба неведомого цветка, умирающего в глубине девственного леса, где никто не вдохнет его запах, не насладится его яркостью. Так же, как он напрасно льет в одиночестве свой аромат, я создаю здесь, на чердаке, идеи, которых никто не воспримет. Вчера вечером у окна вместе с молодым врачом по имени Мейро я ел хлеб и виноград. Мы беседовали как люди, которых несчастье сделало братьями, и я сказал ему:

— Я ухожу, вы остаетесь, возьмите мои концепции и развейте их!

— Я не могу, — ответил он с горечью и грустью, — здоровье у меня слишком слабое и не выдержит моих трудов, я должен умереть молодым, сражаясь с нищетой.

Мы посмотрели на небо и пожали друг другу руки. Мы встречались на лекциях по сравнительной анатомии в галереях Музеума, увлеченные одними и теми же проблемами, единством строения земли. Для него это было предчувствие гения, посланного, чтобы открыть новый путь на целине разума, для меня — вывод общей системы. Моя мысль хотела установить реальные связи, которые могут существовать между человеком и богом. Разве не в этом нуждается наша эпоха? Без каких-либо высших неоспоримых начал нельзя наложить узду на общество, дух критики и споров распустил его, и оно кричит теперь: «Ведите нас по дороге, где мы не встретим пропастей!» Вы меня спросите, какое отношение имеет сравнительная анатомия к вопросу, столь важному для грядущих судеб общества? Не следует ли убедить себя, что человек — это цель всех земных возможностей, а затем спросить, не будет ли сам он возможностью, не имеющей завершения? Если человек связан со всем, то нет ли чего-либо над ним, с чем он связывается в свою очередь? Если в нем итог восходящих к нему необъясненных изменений, не должен ли он явиться связью между видимой и невидимой природой? Деятельность мира не абсурдна, она стремится к цели, и этой целью не может быть общество, построенное наподобие нашего. Между нами и небом есть ужасающий пробел. В таком положении мы не можем ни всегда наслаждаться, ни всегда страдать; нужны огромные перемены, чтобы достичь рая или ада, двух концепций, без которых бог не существует в глазах народа. Я знаю, что люди выдумали душу, чтобы выйти из затруднительного положения. Но мне как-то неприятно считать, что бог принимает человеческую низость, разочарования, наше отвращение, наше падение. Затем, как можем мы считать, что в нас есть божественная искра, если над ней могут возобладать несколько стаканов рома? Как вообразить себе сверхматериальные способности, которые ограничены материей и использование которых может быть сковано одним зерном опиума? Как представить себе, что мы будем еще нечто чувствовать, будучи лишены условий нашей чувствительности? Почему погибнет бог, если субстанция будет обладать способностью мыслить? Разве одушевление субстанции в ее бесчисленных разновидностях, проявление ее инстинктов легче объяснить, чем деятельность мышления? Разве движения, присущего мирам, недостаточно, чтобы доказать существование бога, и мы должны обращаться ко всевозможным нелепостям, порожденным нашей гордыней? Разве не достаточно для существа, отличающегося от других только более совершенными инстинктами, сознания, что мы можем после всех испытаний достичь лучшего бытия, хотя в одном отношении и обречены на гибель? Если в области морали не существует ни одного принципа, который не вел бы к абсурду или к противоречию с очевидностью, разве не время приступить к поискам догматов, начертанных в глубине природы вещей? Не нужно ли перевернуть всю философскую науку? Мы очень мало занимаемся так называемым небытием, которое нам предшествовало, и пытаемся исследовать то небытие, которое нас ждет. Мы делаем бога ответственным за будущее, но не спрашиваем у него отчета о прошлом. А между тем так же необходимо знать, не имеем ли мы каких-либо корней в прошлом, как и то, на что мы обречены в будущем. Если мы были деистами или атеистами, то только с одной стороны. Вечен ли мир? Создан ли мир? Мы не можем представить ничего среднего между этими двумя положениями: одно ложно, другое правильно. Выбирайте. Каков бы ни был ваш выбор, величие бога, такого, каким мы его себе представляем, должно уменьшиться, что равносильно его отрицанию. Сделайте мир вечным: тогда, несомненно, бог ему подчинен. Предположите, что мир создан, тогда существование бога невозможно. Как мог он существовать целую вечность, не зная, что у него явится мысль создать мир? Как же он не знал заранее результатов? Откуда он взял материал? Видимо, из самого себя. Если мир исходит из бога, как же принять зло? Если же зло произошло из добра, то вы пришли к абсурду. Если же зла не существует, то чем становится общество с его законами? Всюду бездны! Всюду пропасть для разума. Нужно в корне перестроить науку об обществе. Послушайте, милый дядя: покуда какой-нибудь прекрасный гений не объяснит заведомое неравенство умов, общий смысл человечества, слово «бог» будет постоянно уязвимо, а общество будет существовать на зыбучем песке. Тайны различных нравственных зон, через которые проходит человек, раскроются в анализе всего животного мира в целом. Животный мир до сих пор рассматривался только в своих различиях, но не в явлениях сходства; в своих органических наружных признаках, но не в подлинных своих свойствах. Животные свойства мало-помалу совершенствуются, следуя за избирательным законом. Эти свойства соответствуют силам, которые их выражают, и эти силы материальны в своем существе и делимы. Материальные свойства! Подумайте об этих двух словах. Ведь это такой же неразрешимый вопрос, как и вопрос о том, как материя была приведена в движение, — еще не исследованная бездна, трудности которой были скорее смещены, чем разрешены системой Ньютона. Наконец, постоянная комбинация света со всем, что живет на земле, требует нового исследования земного шара. То же самое животное различно в жарком поясе, в Индии или на севере. Под вертикальными или наклонными солнечными лучами развиваются различные формы природы, единые в своей основе, но по результатам не схожие ни внутренне, ни внешне. Явление зоологического мира, бросающееся нам в глаза при сравнении бабочек Бенгалии с бабочками Европы, еще ярче в нравственном мире. Нужен определенный лицевой угол, определенное количество мозговых извилин, чтобы получить Колумба, Рафаэля, Наполеона, Лапласа или Бетховена; бессолнечная долина порождает кретинов; сделайте из этого выводы. Откуда эти различия в человеке, зависящие от большей или меньшей удачи в распределении света? Существование огромного количества страдающих людей, более или менее активных, более или менее обеспеченных питанием, более или менее просвещенных, так трудно объяснить, что это вопиет против бога. Почему самые большие радости вызывают в нас желание покинуть землю, почему у всякого существа возникало и будет возникать стремление подняться ввысь? Движение — это великая душа, слияние которой с материей так же трудно объяснить, как произведения человеческой мысли. В настоящее время наука едина, невозможно коснуться политики, не занимаясь вопросами морали, а мораль связана со всеми научными проблемами. Мне кажется, что мы накануне великой битвы человечества; армия уже собралась, только я пока не вижу полководца...

25 ноября.

Поверьте мне, милый дядя, трудно отказаться без сожаления от жизни, которая нам свойственна. Я возвращаюсь в Блуа, но сердце мое мучительно сжимается; я умру и унесу с собой нужные миру истины. Никакие личные интересы не оскверняют моих сожалений. Что слава для человека, который уверен, что может подняться в более высокую сферу? У меня нет никакой любви к двум слогам «Лам» и «бер»: произнесут их небрежно или с уважением над моей могилой, это ничего не изменит в моей потусторонней судьбе. Я чувствую себя сильным, полным энергии, я мог бы стать могущественным; я ощущаю в себе такую просветленную жизнь, что она может воодушевить целый мир, и я точно заключен в какой-то минерал, как, быть может, заключены цветы, которыми вы любуетесь на шее у птиц с Индийского полуострова; надо было бы охватить весь мир и обнять его, чтобы переделать; но разве те, кто его таким образом охватит и переплавит, не начали с того, что были колесиками в машине? Я оказался бы раздавленным. Магомету — сабля, Иисусу — крест, а мне — никому не известная смерть; завтра я еду в Блуа, а через несколько дней лягу в гроб.

Знаете ли вы, почему я вернулся к Сведенборгу, после того как я проделал громадную работу по изучению религий и, прочитав все работы, которые терпеливая Германия, Англия и Франция опубликовали за шестьдесят лет, доказал самому себе глубокую истину моих взглядов на Библию, сформировавшихся в молодости? Конечно, Сведенборг резюмирует все религии, вернее, единую общечеловеческую религию. Если культы существуют в бесчисленных формах, то их смысл и метафизическая конструкция никогда не менялись. В конце концов, у человека была только одна религия. Шиваизм, вишнуизм и браманизм[[44]](#footnote-44), три первых человеческих культа, развившиеся в Тибете, в долине Инда и на обширных равнинах Ганга за несколько тысячелетий до Иисуса Христа, закончили свои войны принятием индусского Тримурти. Тримурти — это наша троица. Из этого догмата зародился в Персии магизм[[45]](#footnote-45), в Египте — африканские религии и мозаизм[[46]](#footnote-46), потом кабиризм[[47]](#footnote-47) и греко-римский политеизм. Излучения тримуртизма, принесенные мудрецами, которых люди преобразуют в полубогов (Митра, Вакх. Гермес, Геракл и др.), прививали азиатские мифы воображению каждой страны, которой они достигали. В то же время в Индии появляется Будда, самый знаменитый реформатор трех примитивных религий, и основывает свою церковь, к которой и сейчас принадлежит на двести миллионов человек больше, чем к христианской, провозглашает свое учение, питавшее могучую волю Христа и Конфуция[[48]](#footnote-48). После этого христианство поднимает свое знамя. Позже Магомет сливает мозаизм и христианство; Библию и Евангелие в одну книгу, Коран, где он приспосабливает их к духу арабов. Наконец, Сведенборг выбирает из магизма, браманизма, буддизма и христианского мистицизма то, что в этих четырех религиях есть общего, реального, божественного, и придает этим доктринам, так сказать, математическое доказательство. Для того, кто окунается в реки этих религий, не все основатели которых нам известны, совершенно ясно, что Зороастр[[49]](#footnote-49), Моисей[[50]](#footnote-50), Будда, Конфуций, Иисус Христос, Сведенборг руководствуются одними принципами и ставят себе одну цель. Но последний из них, Сведенборг, станет, быть может, Буддой севера. Как бы темны и расплывчаты ни были его книги, в них находятся элементы грандиозной социальной концепции. Его теократия великолепна, его религия единственная, которую может принять подлинно высокий дух. Только он один дает возможность коснуться бога, он пробуждает жажду веры, он освобождает величие бога от пеленок, в которые его замотали другие человеческие культы; он оставил его там, где он пребывает, заставив притягиваться к нему все созданные им вещи и существа, путем последовательных превращений, показывающих более близкое, более естественное будущее, чем католическая вечность. Он смыл с бога упрек, который делают ему нежные души, упрек в том, что он назначает вечную кару за ошибки одного мгновения, ибо в таком порядке нет ни справедливости, ни доброты. Каждый человек хочет знать, будет ли у него другая жизнь и имеет ли этот мир какой-нибудь смысл. Вот я и хочу осмелиться произвести этот опыт. Эта попытка может спасти мир, так же, как крест Иерусалима и сабля Мекки[[51]](#footnote-51). И один и другой — сыновья пустыни. Из тридцати трех лет жизни Иисуса известны только девять; время его безвестности подготовило жизнь, полную славы. И мне тоже нужна пустыня!

Несмотря на трудности такого предприятия, я считал своим долгом попытаться описать молодость Ламбера, эту скрытую от всех жизнь, которой я обязан единственными счастливыми часами и единственными приятными воспоминаниями моего детства. За исключением этих двух лет, вся моя жизнь была полна лишь тревог и неприятностей. Если позже я и испытывал счастье, то оно всегда бывало неполным. Я, конечно, был очень многословен, но, не проникнув в глубину сердца и ума Ламбера — эти два слова крайне несовершенно выражают бесконечно разнообразные формы его внутренней жизни, — будет очень трудно понять вторую половину его умственного развития, одинаково неизвестную как мне, так и миру, хотя ее оккультное завершение развернулось передо мной в течение нескольких часов. Все те, у кого эта книга еще не выпала из рук, я надеюсь, поймут события, которые мне осталось рассказать, события, составляющие в какой-то мере второе существование этого человека; почему не сказать — этого творческого сознания, в котором все было необыкновенно, даже его конец.

Когда Луи вернулся в Блуа, дядя постарался всячески развлечь его. Но бедный священник жил в этом благочестивом городке, как настоящий прокаженный. Никто не хотел принимать революционера, лишенного сана. Его общество состояло из нескольких людей, верных убеждениям, как тогда говорили, либеральным, патриотическим, конституционным, людей, к которым он ходил на партию виста или бостона. В первом доме, куда ввел его дядя, Луи увидел молодую особу, положение которой заставляло ее оставаться в этом обществе, отвергнутом людьми большого света, хотя у нее было настолько значительное состояние, что позже она, несомненно, смогла бы сделать партию среди высшей аристократии этого края.

Мадмуазель Полина де Вилльнуа была единственной наследницей богатств, накопленных ее дедушкой, евреем по имени Саломон, который, в противоположность обычаям своей нации, в старости женился на католичке. У него был сын, воспитанный в вере своей матери. После смерти отца молодой Саломон купил, по выражению того времени, должность, дающую дворянство, и превратил в баронство земли Вилльнуа, получив право на это имя. Он умер холостым, но оставил незаконную дочь, которой завещал бóльшую часть своего состояния и, в частности, имение Вилльнуа. Один из его дядей, господин Жозеф Саломон, был назначен опекуном сиротки. Этот старый еврей так полюбил свою подопечную, что готов был принести самые большие жертвы, чтобы почетно выдать ее замуж. Из-за своего происхождения и сохранявшегося в провинции предубеждения против евреев мадмуазель де Вилльнуа, несмотря на свое богатство и состояние опекуна, не была принята в том избранном обществе, которое правильно или неправильно называется аристократическим. Между тем господин Жозеф Саломон заявлял, что за неимением провинциального дворянчика его подопечная поедет в Париж, чтобы выбрать там мужа среди пэров — либералов или монархистов; что же касается счастья, добрый опекун считал возможным гарантировать его определенными условиями брачного контракта. Мадмуазель де Вилльнуа было тогда двадцать лет. Ее исключительная красота и пленительный ум были для ее счастья менее шаткой гарантией, чем все то, что могло дать богатство. В ее чертах можно было увидеть самый высокий образец чистейшей еврейской красоты: широкий и чистый овал лица, отражающий нечто идеальное, дышащий всеми наслаждениями Востока, невозмутимой лазурью его неба, щедростью земли и сказочным богатством жизни. У нее были красивые миндалевидные глаза, оттененные густыми загнутыми ресницами. Библейская невинность озаряла ее чело. Кожа сохраняла матовую белизну одежды левитов[[52]](#footnote-52). Обычно она была молчалива и сосредоточенна, но ее жесты, ее движения свидетельствовали о скрытом очаровании, так же как в словах сквозила мягкая и ласковая женственность. И все же у нее не было розовой свежести или яркого румянца, украшающего щеки женщины в беззаботном возрасте. Коричневатые оттенки, смешанные с красноватыми отсветами, заменяли румянец на этом лице и выдавали энергичный характер, нервную возбудимость, которую многие мужчины не любят в женщинах, но в которой иные распознают целомудренную чувствительность и гордую силу страсти. Как только Ламбер увидел мадмуазель де Вилльнуа, он угадал в ее облике ангела. Богатство его души, склонность к экстазу — все это вылилось в беспредельную любовь. Первая любовь юноши всегда бывает очень бурной, а у него, человека пылких и пламенных чувств, особого характера идей, замкнутого образа жизни, любовь приобрела неизмеримую мощь. Эта страсть была для него бездной, в которую несчастный бросил все, бездной, куда страшно заглянуть, потому что мысль самого Ламбера, такая гибкая и такая сильная, утонула в ней. Здесь все тайна, потому что все это произошло в духовном мире, закрытом для большей части людей, законы которого открылись ему, быть может, к несчастью для него самого. Когда мы случайно встретились с его дядей, он привел меня в комнату, где жил Ламбер в тот период своей жизни. Я хотел найти в ней какие-нибудь следы его творений, если он их оставил. Там среди бумаг, разбросанных в беспорядке, к которому старик отнесся с уважением, проникнутым удивительным, отличающим старых людей чувством сострадания, я нашел много писем, настолько неразборчивых, что их не стоило вручать мадмуазель де Вилльнуа. Хорошее знание почерка Ламбера позволило мне с течением времени разобрать иероглифы этой стенографии, созданной лихорадочным нетерпением страсти. Захваченный чувством, он писал, не заботясь о графическом совершенстве, стремясь не замедлять изложения своих мыслей. Вероятно, он переписывал эти бесформенные наброски, в которых часто все строчки сливались; но, опасаясь, быть может, что придает своим идеям довольно неудачную форму, он сперва по два раза начинал свои любовные письма. Как бы то ни было, но понадобился весь пыл моего культа его памяти и нечто вроде фанатизма, охватывающего человека при подобном предприятии, чтобы разгадать и восстановить смысл последующих пяти писем. Эти бумаги, которые я храню с неким благоговением, — единственные материальные свидетели его пылкой страсти. Мадмуазель де Вилльнуа, несомненно, уничтожила подлинники посланных ей писем, красноречивых свидетелей возбужденного ею лихорадочного бреда. Первое из этих писем — несомненно так называемый черновик — раскрывало и своей формой и многословием его колебания, сердечные волнения, бесконечные опасения, пробужденные желанием нравиться; сбивчивость выражений показывала неясность всех мыслей, которые охватили молодого человека, пишущего свое первое любовное письмо; о таком письме помнят всегда, и каждое его слово пробуждает долгие размышления; как великан, сгибающийся, чтобы войти в хижину, становится скромным и робким, так и самое необузданное чувство ищет сдержанных выражений, чтобы не испугать души молодой девушки. Никогда антиквар не трогал свои палимпсесты[[53]](#footnote-53) с большим уважением, чем я изучал и восстанавливал эти искалеченные обрывки, ибо страдание и радость священны для всех, кто знал такие же страдания и такие же радости.

###### I

Мадмуазель, когда вы прочтете это письмо — разумеется, если вы все же его прочтете, — моя жизнь будет в ваших руках, потому что я вас люблю, а для меня надеяться быть любимым — значит жить. Я знаю, быть может, другие, говоря о себе, уже много раз употребляли слова, которыми я пользуюсь, чтобы изобразить вам состояние моей души; все же верьте правдивости моих слов, они жалки, но искренни. Может быть, нехорошо признаваться таким образом в любви. Да, голос моего сердца советовал мне молча ждать, чтобы моя страсть тронула вас, а потом задушить ее, если эти немые свидетельства вам не понравятся; или же выразить ее еще целомудреннее, чем словами, если мне удастся заметить милосердие в ваших глазах. Долгое время опасался я задеть вашу юную чувствительность. Но теперь пишу вам, подчиняясь инстинкту, который исторгает у умирающих бесполезные стенания. Мне понадобилось все мое мужество, чтобы преодолеть гордость, не оставляющую меня и в несчастье, и перешагнуть через барьеры, которые предрассудки воздвигают между вами и мной. Многое пришлось мне подавить в своем уме и сердце, чтобы любить вас, несмотря на ваше богатство. Решившись написать вам, разве я не рисковал встретить презрение, которым женщины часто отвечают на признание в любви, воспринимая его только как лишний комплимент? Поистине, надо изо всех сил рвануться к счастью, потянуться к жизни и любви, как растение к свету, почувствовать себя бесконечно несчастным, чтобы победить муки и страх тайных размышлений, когда рассудок всевозможными способами доказывает нам тщетность наших желаний, скрытых в глубине сердца, а между тем надежда все же заставляет нас рискнуть всем. Я был счастлив, молча наблюдая за вами, я до такой степени был захвачен созерцанием вашей прекрасной души, что, видя вас, я не мог представить себе ничего, равного вам. Нет, я бы не осмелился говорить с вами, если бы не услышал известия о вашем отъезде. Какую пытку причинило мне одно это слово! Мое горе заставило меня понять силу моей привязанности к вам, ей нет границ. Мадмуазель, вы не узнаете никогда, по крайней мере я хочу, чтобы вы никогда не узнали, горя, возникающего от страха потерять единственное счастье, расцветшее для нас на земле, единственное, бросившее хоть несколько лучей света во тьму моих бедствий. Вчера я почувствовал, что моя жизнь не во мне, а в вас. Во всем мире для меня существует только одна женщина, а моя душа поглощена одной мыслью. Я не смею сказать вам, какой выбор ставит передо мной моя любовь к вам. Желая обрести вас только по вашей собственной воле, я должен стараться не показывать вам глубину моих бедствий; ведь они воздействуют на благородные души сильнее, чем счастье. Я буду умалчивать перед вами о многом. Да, мое представление о любви слишком прекрасно, чтобы я мог омрачать его мыслями, чуждыми ее природе. Если моя душа достойна вашей, если моя жизнь чиста, ваше сердце великодушно почувствует это, и вы меня поймете. Мужчине суждено предлагать себя той, которая заставила его поверить в счастье; но ваше право — отвергнуть самое искреннее чувство, если оно не согласуется со смутными зовами вашего сердца, — я это знаю. Если судьба, которую вы мне готовите, не осуществит моих надежд, я взываю ко всей нежности вашей девственной души и благородному милосердию женщины. Ах, я вас умоляю на коленях — сожгите мое письмо, забудьте все. Не шутите с благоговейным чувством, слишком глубоко запечатленным в душе, чтобы оно могло исчезнуть. Разбейте мое сердце, но не терзайте его! Пусть признание моей первой любви, любви юной и чистой, отзовется только в юном и чистом сердце! Пусть оно умрет в нем, как молитва умирает в лоне бога! Я обязан благодарить вас: я провел пленительные часы, видя вас, отдаваясь самым нежным мечтам моей жизни; не завершайте это долгое, но временное счастье насмешкой, что так свойственно молодой девушке. Удовольствуйтесь тем, что оставите меня без ответа. Я сумею правильно истолковать ваше молчание, и вы меня больше не увидите. Если я обречен на то, чтобы всегда понимать счастье и всегда его терять, то, как падший ангел, неразрывно связанный с миром скорби, я все же сохраню чувство небесного блаженства, ну что ж, я сберегу и тайну моей любви и тайну моих несчастий. Прощайте! Да, я поручаю вас богу, я буду молиться за вас, буду просить его дать вам прекрасную жизнь: ибо даже изгнанный из вашего сердца, куда я вошел крадучись, против вашей воли, я не покину вас никогда. Иначе какую ценность имели бы святые слова этого письма, моя первая и, быть может, последняя просьба? Если я когда-нибудь перестану думать о вас, любить вас, счастливый или несчастный, это будет означать, что я недостоин собственных страданий.

###### II

Вы не уезжаете! Значит, я любим! Я, бедное, никому не ведомое существо. Моя дорогая Полина, вы не знаете силы вашего взгляда, но я поверил ему, вы бросили его мне, чтобы сказать, что я избран вами, вами, молодой и прекрасной, у ног которой лежит весь мир. Чтобы дать вам понять, как я счастлив, нужно рассказать вам мою жизнь. Если бы вы меня оттолкнули, для меня бы все было кончено. Я слишком страдал. Да, моя любовь, благодетельная, прекрасная любовь, была последним порывом к счастливой жизни, к ней стремилась моя душа, уже надорвавшаяся в ненужных трудах, источенная страхами, заставлявшими меня сомневаться в самом себе, разъеденная отчаянием, часто призывавшим меня к смерти. Нет, никто в мире не знает ужаса, какой мое роковое воображение внушает самому себе. Оно часто поднимает меня в небеса и внезапно бросает на землю с огромной высоты. Внутренние порывы силы, несколько редких и тайных доказательств особого ясновидения говорят мне иногда, что мои возможности огромны. Тогда я охватываю мир мыслью, я его разрушаю, я его созидаю, я проникаю в него, я его понимаю или думаю, что понимаю; но внезапно пробуждаюсь один, ничтожный, окруженный глубокой ночной темнотой; я забываю просветы, в которые мне удалось заглянуть, я беспомощен, и нет сердца, где бы я мог укрыться. Невзгоды духовной жизни отражаются и на моем физическом существе. Природа моего духа такова, что я без оглядки отдаюсь и радостным ощущениям счастья и ужасающему ясновидению мысли, подвергающему их разрушительному анализу. Одаренный печальной способностью видеть с одинаковой ясностью препятствия и успехи, я счастлив или несчастлив в зависимости от мгновенного настроения. Вот почему, встретив вас, я почувствовал в вас ангельскую природу, я вдохнул воздух, благодетельный для моей пылающей груди, я услышал в себе тот никогда не обманывающий голос, который предсказывал мне счастливую жизнь; но, видя также все барьеры, которые нас разделяют, я впервые понял предрассудки общества; я познал, как беспредельна их мелочность, и препятствия испугали меня больше, чем возбуждала возможность счастья; тотчас же я почувствовал ужасную реакцию, заставляющую мою пылкую душу замыкаться в самой себе. Улыбка, которая благодаря вам появилась на моих губах, внезапно превратилась в гримасу горечи, и я старался напускать на себя холодный вид в то время, как моя кровь кипела, возбужденная тысячью противоречивых чувств. Наконец, я снова узнал это грызущее чувство, к которому меня все еще не приучили двадцать три года подавленных вздохов и непризнанных излияний. И вот, Полина, взгляд, которым вы сообщили мне о моем счастье, внезапно обогрел мою жизнь и превратил несчастье в радость. Теперь я бы хотел, чтобы мои прежние страдания были еще более жестокими. Моя любовь внезапно обрела величие. Моя душа в одно мгновение стала огромной страной, в которой раньше не было благодетельного солнца, а ваш взгляд внезапно осветил ее ярким светом. Драгоценное мое Провидение! Вы будете всем для меня, бедного сироты, у которого нет других родственников, кроме дяди. Вы будете всей моей семьей так же, как вы мое единственное сокровище, как вы для меня — вселенная. Разве вы не отдали мне все блага земные этим целомудренным, чудотворным, застенчивым взглядом? Да, вы мне дали веру в самого себя и непостижимую смелость. Я могу теперь на все дерзнуть. Я вернулся в Блуа без всяких надежд. Пять лет занятий в Париже научили меня считать мир тюрьмой. Я постигал науки в целом, но не смел о них говорить. Мои идеи не могли быть обнародованы иначе, как под покровительством человека, достаточно смелого, чтобы выйти на подмостки прессы и громко говорить перед дураками, которых он презирает. Мне не хватало подобного бесстрашия. Я двигался, сломленный осуждением толпы, не надеясь, что она когда-нибудь меня выслушает. Я был и слишком низок и слишком высок! Я проглатывал собственные мысли, как другие проглатывают оскорбления. Я дошел до того, что стал презирать науку, укоряя ее в том, что она ничем не может содействовать подлинному счастью. Но со вчерашнего дня все во мне изменилось. Из-за вас я страстно пожелал пальмовых ветвей[[54]](#footnote-54) славы и всех триумфов таланта. Я хочу положить голову к вам на колени так, чтобы на нее устремились взгляды всего мира, я хочу вложить в свою любовь все идеи, придать ей все возможное могущество! Самую широкую известность может создать только мощь гения. И я могу, если захочу, устелить ваше ложе лаврами. Но если мирные похвалы науке вас не удовлетворят, у меня есть разящий меч слова, и я смогу быстро продвинуться по дороге почета и честолюбия там, где другие тащатся ползком. Приказывайте, Полина, я стану тем, кем вы захотите, чтобы я был. Моя железная воля может достичь всего. Я любим! Разве вооруженный такой мыслью мужчина не должен заставить все склониться перед ним? Все возможно для того, кто хочет всего. Будьте наградой за успех, и я завтра же выйду на ристалище. Чтобы завоевать такой взгляд, какой вы мне подарили, я перешагну через самую глубокую пропасть. Вы сделали понятными для меня баснословные подвиги рыцарей и самые причудливые рассказы «Тысячи и одной ночи». Теперь я верю в самые фантастические преувеличения в любви и в успех всех тех попыток, которые предпринимают заключенные, чтобы завоевать свободу. Вы пробудили тысячи способностей, дремавших во мне: терпение, примиренность, все силы сердца, все могущество души. Я живу вами и... — какая сладостная мысль! — ...для вас. Теперь все в жизни имеет для меня смысл. Я все понимаю, даже тщеславие богатства. Я мечтаю бросить все жемчужины Индии к вашим ногам; мне нравится воображать вас лежащей или среди самых красивых цветов, или на самых мягких тканях, и все сокровища земли кажутся мне едва достойными вас; для вас я хотел бы иметь власть распоряжаться музыкой ангельских арф и блеском звезд на небе. Бедный трудолюбивый поэт! Мои слова предлагают вам сокровища, которых у меня нет, в то время как я могу дать вам только мое сердце, где вы будете царствовать всегда. В нем все мои богатства. Но разве не являются сокровищем вечная признательность, улыбка, выражение которой будет бесконечно меняться от неколебимого счастья, постоянное стремление моей любви угадать желание вашей любящей души? Разве небесный взгляд ваш не сказал нам, что мы можем всегда понять друг друга? Теперь каждый вечер я должен буду возносить к богу молитву, полную вами: дай счастье моей Полине! Но разве вы не наполните собой все мои дни, как вы уже наполнили мое сердце? Прощайте, я могу поручить вас только богу!

###### III

Полина! Скажи мне, чем я огорчил тебя вчера? Откажись от той гордости сердца, которая заставляет тайно претерпевать боль, причиненную любимым существом. Брани меня! Со вчерашнего дня какой-то смутный страх, что я оскорбил тебя, окутывает печалью жизнь сердца, которую ты сделала столь сладостной и столь богатой. Часто самая легкая вуаль между душами становится бронзовой стеной. Нет мелких проступков в любви! Если вы овладели духом этого прекрасного чувства, вы должны ощущать и все его страдания, и мы обязаны всегда заботиться о том, чтобы не оскорбить друг друга каким-нибудь неосторожным словом. Итак, мое драгоценное сокровище, вина тут несомненно моя, если вообще кто-нибудь из нас провинился. У меня не хватает гордыни притязать на понимание сердца женщины во всей глубине его нежности, во всей прелести его самопожертвования; я только постараюсь всегда угадывать цену того, что ты пожелаешь мне открыть из тайн твоего сердца. Говори со мной, ответь мне побыстрее! Ужасна печаль, в которую погружает нас сознание вины, она окутывает всю жизнь и заставляет сомневаться во всем! Сегодня я все утро сидел на обочине тропинки в овраге, смотря на башни Вилльнуа и не смея подойти к нашей изгороди. Если бы ты увидела все то, что возникло в моей душе, какие печальные призраки прошли передо мной под этим серым небом, и его холодный вид увеличивал еще больше мое скорбное настроение! У меня возникли зловещие предчувствия. Я боялся, что не смогу дать тебе счастья. Нужно тебе все сказать, моя дорогая Полина. Бывают мгновения, когда меня словно покидает дух, которым я озарен. Силы мои словно уходят куда-то. Тогда все для меня становится тягостным, все фибры моего тела застывают, каждое чувство размягчается, взгляд слабеет, язык немеет, воображение гаснет, желания умирают, и поддерживает меня одна лишь физическая сила. Даже если бы в этот момент ты была здесь во всей славе твоей красоты, если бы ты одаряла меня самыми чистыми улыбками и самыми нежными словами, пробудилась бы злая сила, она ослепила бы меня и самую пленительную мелодию превратила бы в беспорядочные звуки. В такие минуты — так мне по крайней мере кажется — передо мною появляется какой-то рассудочный дух, заставляющий меня видеть бездну небытия на дне самой богатой сокровищницы. Этот неумолимый дьявол косит все цветы, смеется над самыми нежными чувствами и говорит мне: «Хорошо, а что же дальше?» Он обесценивает самое прекрасное творение, вскрывая мне его основу, срывает покров с механизма вещей, пряча от меня гармонию, которую создает его работа. В эти ужасные мгновения, когда злой ангел завладевает моим существом, когда божественный свет меркнет в моей душе по неизвестной для меня причине, мне становится грустно и я страдаю, я хотел бы стать глухим и немым, я жажду смерти, видя в ней отдых. Эти часы сомнения и беспокойства, быть может, необходимы, они учат меня по крайней мере не гордиться теми порывами, которые уносят меня в небеса, где я полными пригоршнями черпаю идеи; и лишь после длительного полета по обширным просторам разума, после просветленных размышлений, обессиленный, утомленный, я низвергаюсь в преддверие ада. В такие моменты, мой ангел, женщина должна сомневаться в моей нежности или во всяком случае может в ней усомниться. Капризная порою, болезненная, грустная, она потребует сокровищ ласки и проницательной нежности, а у меня не найдется даже взгляда, чтобы ее утешить! Мне стыдно, Полина, признаться тебе, что тогда я смогу плакать вместе с тобой, но ничто не вырвет у меня ни одной улыбки. А между тем женщина находит в любви силы для того, чтобы скрывать свои горести. Для своего ребенка, для того, кого она любит, она умеет смеяться, страдая. Неужели ради тебя, Полина, я не смогу подражать женщине в этой возвышенной утонченности? Со вчерашнего дня я сомневаюсь в самом себе. Если я мог тебе не понравиться один раз, если я тебя не понял, я боюсь, что мой роковой демон может увлечь меня за пределы нашей благостной сферы. Если у меня будет много этих ужасных мгновений, если моя бескрайняя любовь не сумеет искупить мрачные часы моей жизни, если я обречен остаться таким, какой я есть? Роковые вопросы! Могущество — это губительный дар, если все же то, что я в себе чувствую, это могущество. Полина, удали меня от себя, покинь меня! Я предпочитаю все страдания, все горести жизни мучительному сознанию, что ты несчастна из-за меня. Но, может быть, демон так сильно овладел моей душой, потому что около меня не было нежных белых рук, чтобы его отогнать? Никогда ни одна женщина не пролила на меня бальзама своих утешений, и я не знаю, не пробудятся ли в моем сердце новые силы, если в миг усталости любовь взмахнет крыльями над моей головой! Быть может, эти жестокие приступы грусти — просто следствие моего одиночества, страдание покинутой души, которая стонет и платит за свои сокровища неведомыми горестями. Легким радостям — легкие неприятности, огромному счастью — невыносимое страдание. Какая судьба! Если это правда, не должны ли мы трепетать от страха, — ведь мы так сверхчеловечески счастливы? Если природа отпускает нам все соответственно нашей ценности, в какую бездну должны мы упасть? Богаче всего одарены те любовники, которые умирают вместе в расцвете молодости и любви. Как это грустно! Не предчувствует ли моя душа печального будущего? Я исследую самого себя и спрашиваю, нет ли чего-нибудь во мне, что может принести тебе хоть малейшее беспокойство? Быть может, я люблю тебя эгоистично? Быть может, накладываю на плечи моей любимой более тяжелую ношу, чем та радость, которую дает твоему сердцу моя нежность? Если во мне существует какая-то непреодолимая сила, которой я повинуюсь, если я проклинаю, когда ты складываешь руки для молитвы, если какая-то печальная мысль давит меня, когда я хотел бы сесть у твоих ног и играть с тобой, как ребенок, разве ты не будешь ревновать к этому требовательному и причудливому духу? Сердце мое, понимаешь ли ты как следует, что я боюсь не быть целиком твоим, что я охотно отказался бы от всех скипетров, от всех пальмовых ветвей мира, чтобы сделать тебя моей вечной мыслью; чтобы видеть в нашей пленительной любви прекрасную жизнь и прекрасную поэму; чтобы бросить в нее мою душу, отдать ей все силы и требовать у каждого часа тех радостей, которые он обязан тебе дать? И вот толпой возвращаются воспоминания о любви, облака печали рассеиваются. Прощай, я ухожу от тебя, чтобы еще больше принадлежать тебе. Дорогая моя душа, я жду одного слова, одного звука, который вернет мир моему сердцу. Я хочу знать, опечалил ли я мою Полину или какое-то неясное выражение твоего лица обмануло меня. После стольких счастливых часов я не хочу укорять себя в том, что я пришел к тебе без улыбки, сияющей любовью, без единого ласкового слова. Огорчить женщину, которую любишь, это преступление для меня, Полина. Скажи мне правду, не надо великодушной лжи, но не будь излишне жестокой, если прощаешь.

*Отрывок*

Можно ли считать счастьем столь всепоглощающую привязанность? Конечно, ибо разве годы страданий нельзя считать оплатой за один час любви? Вчера твоя едва ощутимая печаль скользнула через мою душу с быстротой мелькнувшей тени. Была ты печальна или страдала? Откуда эта печаль? Напиши мне побыстрей. Почему я сам не догадался об этом? Значит, мы еще не совсем соединились в мыслях. Я должен одинаково чувствовать твои горести и печали в двух или в тысяче лье от тебя. Я не поверю в свою любовь до тех пор, пока моя жизнь не сольется с твоей неразрывно, чтобы у нас была одна жизнь, одно сердце, одни мысли. Я должен быть там, где находишься ты, видеть то, что ты видишь, чувствовать то, что ты чувствуешь, и мысленно следовать за тобой. Разве не я первый узнал, что твоя коляска опрокинулась, что ты ушиблась? Но ведь в этот день я с тобой не расставался, я все время тебя видел. Когда мой дядя спросил меня, почему я побледнел, я сказал ему: «Мадмуазель де Вилльнуа только что упала». Так почему же вчера я не мог читать в твоей душе? Может быть, ты хотела скрыть от меня причину твоей печали? Но я догадался, что ты пыталась, хотя и неудачно, действовать в мою пользу, убедить в чем-то грозного Саломона, один вид которого леденит меня. Это человек не нашего неба. Почему ты хочешь, чтобы наше счастье, не похожее ни на чье другое, подчинялось законам света? Но я слишком люблю все бесконечные проявления твоей стыдливости, твою религиозность, твои суеверия и готов подчиниться любому мельчайшему твоему капризу. Все, что ты делаешь, должно быть прекрасно; нет ничего чище твоей мысли, красивей твоего лица, где отражается божественная душа. Я буду ждать твоего письма, а затем пойду навстречу сладостному мгновению, которое ты мне подаришь. Если бы ты знала, как я начинаю трепетать, едва завижу башенки, окаймленные светом луны, нашей подруги, нашей единственной наперсницы!

###### IV

Прощай, слава, прощай, будущее, прощай, жизнь, о которой я мечтал. Теперь, моя возлюбленная, вся моя слава в том, чтобы принадлежать тебе, быть достойным тебя; мое будущее — только в надежде видеть тебя; а разве моя жизнь не в том, чтобы быть у твоих ног, засыпать под твоим взглядом, дышать полной грудью в небесах, которые ты мне открыла? Все мои силы, все мои помыслы должны принадлежать тебе, тебе, сказавшей мне опьяняющие слова: «Я хочу пережить твои печали!» Отдавать часы — науке, идеи — миру, стихи — поэтам разве не значило бы похищать радости у любви, мгновения у счастья, чувства у твоей божественной души? Нет, нет, драгоценная жизнь моя, я хочу все сохранить для тебя, принести тебе все цветы моей души. Существует ли среди сокровищ земли и человеческого разума что-нибудь достаточно прекрасное, достаточно великолепное, чтобы вознаградить такое чистое, такое щедрое сердце, как твое, а я еще иногда осмеливаюсь соединять с ним мое сердце! Да, иногда я имею смелость верить, что могу любить так же сильно, как любишь ты. Но нет, ведь ты женщина-ангел; в выражении твоих чувств будет всегда больше очарования, чем в моих, больше гармонии в твоем голосе, больше чистоты в твоем взгляде. О, позволь мне верить, что ты существо более высокой сферы, чем та, в которой живу я; ты можешь гордиться тем, что покинула ее, а я — тем, что это заслужил; надеюсь, что ты не раскаешься в том, что снизошла ко мне, бедному и несчастному. И если сердце, целиком принадлежащее женщине, — лучшее для нее убежище, ты всегда будешь владычицей моего сердца. Ни одна мысль, ни один поступок никогда не омрачит этого сердца, и оно останется драгоценным святилищем, пока ты удостоишь царить в нем; но разве ты не останешься в нем навсегда? Разве ты не дала мне пленительного обещания? И ныне и присно! Et nune et semper[[55]](#footnote-55). Я запечатлел под твоим портретом эти ритуальные слова, достойные тебя так же, как они достойны бога. Так и останутся эти слова «и ныне и присно и во веки веков», как и моя любовь. Нет, нет, мне никогда не исчерпать того, что огромно, бесконечно, беспредельно; таково и чувство, которое живет во мне для тебя, я постиг его неизмеримость, как мы постигаем пространство по размерам одной из его частей. Так я пережил невыразимые наслаждения, целые часы сладострастных размышлений, вспоминая какой-нибудь из твоих жестов или оттенок в какой-нибудь фразе. Значит, возникнут воспоминания, тяжестью которых я буду раздавлен, если даже мысль об одном часе нежной страсти вызывает у меня слезы радости, нежит, проникает в мою душу и становится неиссякаемым источником счастья. Любить — это жить, как живут ангелы. Мне кажется, что я никогда не исчерпаю наслаждение, которое испытываю, глядя на тебя. Это наслаждение самое скромное из всех, — хотя и для него никогда не хватает времени, — оно дало мне понять, что такое вечное созерцание бога, которому предаются серафимы и высшие духи; в этом нет ничего удивительного, если из его субстанции исходит свет, столь же богатый новыми чувствами, как сияние твоих глаз, твоего величавого чела, твоего прекрасного лица, небесного отражения твоей души. А душа — это наш двойник, чья чистая, неразрушимая форма делает любовь нашу бессмертной. Я бы хотел, чтобы существовал другой язык, а не тот, каким я пользуюсь, чтобы описать тебе постоянно расцветающие у меня в сердце наслаждения моей любви. Но, если уже существует язык, который мы создали, если наши взгляды — это ожившие слова, разве нам не нужно видеть друг друга, чтобы слышать глазами живые вопросы и ответы наших сердец, такие проникновенные, что ты мне сказала однажды вечером: «Молчите», когда я не говорил ни слова? Помнишь ли ты, драгоценная жизнь моя? Но разве я не вынужден пользоваться человеческими словами, слишком слабыми, чтобы передать божественные ощущения, когда блуждаю вдали от тебя, во мгле разлуки? Слова эти по крайней мере обнаруживают следы, оставшиеся в моей душе, подобно тому, как слово «бог» несовершенно выражает представление о таинственном начале начал. Кроме того, несмотря на мои знания и на обширные возможности языка, я никогда ничего не находил в этих выражениях, что могло бы изобразить тебе сладость того объятия, которое соединяет нас, растворяя мою жизнь а твоей, когда я думаю о тебе. И какими словами закончить письмо, если, перестав писать, я все равно не покидаю тебя? Что значит разлука, если это не смерть? Но разве смерть — разлука? Разве моя душа не сольется с твоей еще полнее? О моя вечная мысль! Прежде я на коленях предложил тебе мое сердце и всю мою жизнь; и разве теперь я смогу найти в душе новые цветы чувства, такие, каких я еще тебе не дарил? Это все равно, что послать тебе частицу тех сокровищ, которыми ты владеешь целиком. Разве не в тебе мое будущее? Как я жалею о прошлом! Я бы хотел отдать тебе все годы прошлого, над которыми я теперь не властен, чтобы ты царила над ними, как царишь сейчас над моей жизнью. Но какой смысл имело мое существование до того, как я узнал тебя? Оно было бы небытием, если бы я не был так несчастен.

*Отрывок*

Любимый мой ангел, какой пленительный вечер мы провели вчера! Какие богатства в твоем драгоценном сердце! Значит, и твоя любовь так же неистощима, как моя? Каждое слово несло мне новые радости, и каждый взгляд делал их еще глубже. Спокойное выражение твоего лица открывало бескрайний горизонт для наших мыслей. Да, все было бесконечно, как небо, и сладостно, как его лазурь. Прелесть твоего обожаемого лица отражалась, уж не знаю с помощью какого волшебства, в твоих милых движениях, в каждом легком жесте. Я хорошо знал, что ты вся — обаяние и вся — любовь, но я не мог знать, до какой степени многолико твое очарование. Все соединилось, чтобы вызвать во мне страстные желания, чтобы побудить меня просить о первых милостях, в которых женщина всегда отказывает, несомненно, лишь для того, чтобы заставить возлюбленного похитить их у нее. Но нет, ты, драгоценная душа моей жизни, ты никогда не будешь знать заранее, сколько ты можешь дать моей любви, и все же будешь давать, быть может, не желая этого! Ты правдива, поэтому слушайся только своего сердца. Как сливается с ласковой гармонией чистого воздуха и спокойного неба нежность твоего голоса! Ни птичьего крика, ни дуновения; пустыня и мы! Неподвижная листва даже не трепетала, залитая восхитительными красками заката, в которых сочетаются свет и тени. Ты почувствовала эту небесную поэзию, ты, объединявшая столько разнообразных чувств, и так часто обращала взоры к небу, чтобы мне не отвечать! Ты, гордая и смеющаяся, скромная и деспотичная, целиком отдающаяся душой, мыслью, но ускользающая от самой робкой ласки. Драгоценная игра сердца: они еще звенят в моих ушах, еще кружатся, еще играют, эти пленительные, едва лепечущие, почти детские слова, которые не были ни обещаниями, ни признаниями, но давали любви прекрасные надежды без страха и без мучений. Какое целомудренное воспоминание на всю жизнь! Какой пышный расцвет всех цветов, рождающихся в глубине души; они могут увянуть от любого пустяка, но сейчас им все помогает пробуждаться и расцветать! Всегда будет так, не правда ли, моя любимая? Вспомнив утром свежие, живые, радостные чувства, приглушенно звучавшие в тот момент, я ощутил в душе счастье, которое заставило меня понять, что настоящая любовь — это океан чувств, вечных и всегда новых, и в него можно погружаться со все возрастающим наслаждением. Каждый день, каждое слово, каждая ласка, каждый взгляд должен отдать свою дань прошедшим радостям. Да, сердца, достаточно возвышенные, чтобы ничего не забывать, должны жить при каждом биении всеми пережитыми мгновениями счастья, как и всеми теми, которые им обещает будущее. Вот о чем я мечтал когда-то, и это перестало быть только мечтой. Разве я не встретил на земле ангела, который дал мне познать все радости, чтобы вознаградить меня за то, что я перенес все страдания? Ангел неба ясный, я приветствую тебя поцелуем.

Я посылаю тебе этот гимн, вырвавшийся из моего сердца, я был обязан послать его тебе. Но он слишком несовершенно передает тебе мою благодарность и утренние молитвы, которые мое сердце каждый день посылает тебе, открывшей мне все евангелие сердца одним божественным словом: «Верьте!»

###### V

Как, сердце мое, больше нет препятствий?! Мы будем свободно принадлежать друг другу каждый день, каждый час, каждое мгновение, всегда! Мы сможем быть счастливы все дни нашей жизни, как теперь мы счастливы только украдкой, в редкие мгновения! Как! Наши чувства такие чистые, такие глубокие, примут пленительную форму бесчисленных ласк, о которых я мечтал! Твоя маленькая ножка разуется для меня, и ты вся будешь моей! Это счастье меня убивает, подавляет. Моя голова слишком слаба, она разрывается под напором мыслей. Я плачу, смеюсь, я веду себя, как помешанный. Каждое удовольствие, как пылающая стрела, пронзает и жжет меня. В моем воображении ты появляешься перед моим восхищенным, отуманенным взором в бесчисленных и причудливых образах, созданных сладострастием. Наконец, вся наша жизнь здесь, передо мной, со своими бурными потоками, часами отдыха, радостями; она кипит, разливается, засыпает; затем просыпается молодой, свежей. Я вижу нас обоих вместе; мы идем одним и тем же шагом, живем одними мыслями, сердце к сердцу, мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга, как эхо слышит и повторяет звуки через пространство! Можно ли прожить долго, пожирая каждое мгновение свою жизнь? Не умрем ли мы от первого объятия? И что это будет, если уже наши души слились в нежном вечернем поцелуе, отнявшем у нас все силы? Этот короткий поцелуй был развязкой всех моих желаний, бессильным посланцем всех молитв, вырвавшихся из моей души в часы нашей разлуки и спрятанных в глубине сердца, как угрызения совести. И я, который прятался в кустах, чтобы подслушать твои шаги, когда ты возвращалась в замок, я смогу любоваться тобой сколько захочу, когда ты что-нибудь делаешь, смеешься, играешь, разговариваешь. Беспредельная радость! Ты и представить себе не можешь, какое блаженство я испытываю, когда вижу, как ты ходишь взад и вперед! Нужно быть мужчиной, чтобы постичь всю глубину этих ощущений. Каждое твое движение дает мне такое же наслаждение, какое чувствует мать, когда видит своего ребенка весело играющим или спящим. Очарование каждого твоего жеста всякий раз ново для меня. Мне кажется, что я готов целые ночи дышать твоим дыханием; я хотел бы неслышно войти во все дела твоей жизни, быть субстанцией твоих мыслей, быть тобой. Наконец-то я смогу никогда не покидать тебя! Никакое человеческое чувство не смутит нашу любовь, бесконечную в своих преображениях и чистую, как все, что едино; нашу любовь, широкую, как море, широкую, как небо! Ты моя! Вся моя! Теперь я смогу смотреть в глубину твоих глаз и видеть в них дорогую мне душу, которая то прячется, то открывает себя, и подстерегать все твои желания. Моя любимая, послушай о том, чего я еще не смел сказать тебе, но в чем могу сейчас признаться. Я ощущал в душе какой-то стыд, не дававший мне полностью выразить мои чувства, и я пытался облечь их в форму мыслей. Но теперь я хотел бы обнажить мое сердце, сказать тебе о всей пылкости моих мечтаний, раскрыть перед тобой кипящее честолюбие моих чувств, раздраженных одиночеством, в котором я жил, всегда пылающих ожиданием счастья, разбуженных тобой, нежностью твоих форм, привлекательностью твоих манер! Но разве можно выразить, как я взволнован в предчувствии неведомых наслаждений, которые дает обладание любимой женщиной, когда две души, тесно спаянные любовью, должны со всей силой отдаться неудержимому слиянию! Знай же, моя Полина, я целые часы проводил в оцепенении, порожденном силой моих страстных желаний, погружаясь в ощущение неведомой ласки, как падают в бездонную пропасть. В такие моменты вся моя жизнь, мои мысли, мои силы плавились и сливались в том, что я называю желанием, ибо у меня не хватает слов, чтобы выразить это несказанное опьянение. Теперь я могу тебе признаться, что в тот день, когда я, проявив жалкое благоразумие, заставившее тебя сомневаться в моей любви, отказался взять твою руку, которую ты мне протягивала таким прелестным движением, у меня был один из тех припадков безумия, когда мужчина готов совершить убийство, чтобы овладеть женщиной. Да, если бы я почувствовал предложенное тобой пленительное пожатие так же живо, как звучал в моем сердце твой голос, я не знаю, до чего могла бы довести меня буря моих желаний. Но я могу молчать и долго страдать. Зачем говорить об этих печалях, когда мои видения скоро станут реальностью? Значит, мне дано будет всю нашу жизнь превратить в сплошную ласку! Дорогая, любимая, бывают такие отсветы на твоих черных волосах, что я готов был бы со слезами на глазах в течение долгих часов созерцать твой драгоценный облик, если бы ты не говорила мне, отворачиваясь: «Довольно! Мне же просто стыдно». Завтра о нашей любви узнают все! Ах, Полина, при мысли, что надо будет перенести взгляды посторонних, любопытство толпы, сердце мое сжимается. Поедем в Вилльнуа, будем жить вдали от всего. Я бы хотел, чтобы ни одно человеческое существо не входило в святилище, где ты станешь моей; я бы хотел, чтобы после нас оно больше не существовало, чтоб оно было разрушено. Да, я бы хотел спрятать от всего мира счастье, которое можем понять, почувствовать только мы двое и которое так безмерно, что я бросаюсь в него, чтобы умереть: это бездна. Не пугайся слез, оросивших это письмо: это слезы радости. Мое единственное счастье! Значит, мы с тобой никогда не расстанемся!

В 1823 году я ехал из Парижа в Турень на дилижансе. В Мере кондуктор посадил пассажира до Блуа. Введя его в ту часть повозки, где находился я, он шутливо сказал: «Вам здесь никто не помешает, господин Лефевр!»

Действительно, я был один.

Услышав это имя, увидев совершенно седого старика, который казался по крайней мере восьмидесятилетним, я совершенно естественно подумал о дяде Ламбера. После нескольких окольных вопросов я понял, что не ошибся. Добрый старик только что окончил сбор винограда в Мере и возвращался в Блуа. Я тотчас спросил у него о моем прежнем «фезане». При первом же вопросе лицо старого ораториена, и без того серьезное и суровое, как лицо много перестрадавшего солдата, помрачнело и потемнело; морщины на лбу слегка углубились; он сжал губы, искоса поглядел на меня и спросил:

— Так вы не встречались с ним после коллежа?

— По чести говоря, нет, — ответил я. — Но мы оба одинаково виноваты, если забыли друг о друге. Вы же знаете, что молодые люди, покинув школьную скамью, ведут жизнь, настолько полную страстей и приключений, что им необходимо встретиться, чтобы понять, до какой степени они все еще любят друг друга. Все же иногда возникает в душе воспоминание детства, и, оказывается, невозможно забыть все, в особенности если дружба была такой тесной, как у меня и Ламбера. Нас даже прозвали «Поэт и Пифагор».

Я ему назвал свое имя; но как только он его услышал, его лицо еще больше помрачнело.

— Значит, вы не знаете его истории? — продолжал он. — Мой бедный племянник должен был жениться на самой богатой наследнице в Блуа; но накануне свадьбы он сошел с ума.

— Ламбер сошел с ума? — ошеломленно воскликнул я. — Каким образом? Ни у кого из тех, кого мне доводилось встречать, не было такой богатой памяти, такого блестяще организованного ума, такой проницательности суждений! Мощный дух, быть может, немного слишком увлеченный мистикой; но самое благородное сердце в мире. С ним, значит, случилось нечто совсем необыкновенное?

— Я вижу, что вы его хорошо знали, — сказал мне добряк.

От Мера до Блуа мы говорили о моем бедном товарище. Пришлось делать большие отклонения в сторону от основной нити событий, чтобы ознакомиться с некоторыми частностями, которые я уже сообщил читателю, чтобы факты из жизни моего друга предстали в той последовательности, которая может придать им интерес. Я рассказал дяде о наших тайных исследованиях, о том, что, в сущности, занимало его племянника; потом старик рассказал мне о событиях, происшедших в жизни Ламбера с тех пор, как мы расстались. По словам господина Лефевра, у Ламбера появились некоторые признаки безумия еще до его женитьбы; но эти признаки не отличались от тех, какие встречаются у всех страстно влюбленных, а мне они показались еще менее характерными, когда я узнал силу его страсти к мадмуазель де Вилльнуа. В провинции, где идеи возникают редко, человек, полный новых мыслей, находящийся во власти одной системы, вроде Луи, мог прослыть самое меньшее чудаком. Его язык должен был удивлять тем более, чем реже он высказывался. Он говорил: «Этот человек не моего неба» — в тех случаях, когда другие говорили: «С ним каши не сваришь». У каждого талантливого человека есть свои особые выражения. Чем глубже гений, тем резче странности, определяющие разные ступени оригинальности. В провинции оригинальный человек всегда слывет полубезумцем. Первые слова господина Лефевра заставили меня сомневаться в сумасшествии моего товарища. Слушая старика, я внутренне относился к его рассказу критически. Самый серьезный случай произошел за несколько дней до свадьбы влюбленных. У Луи был очень характерный приступ каталепсии. В течение пятидесяти девяти часов он оставался неподвижным, устремив глаза в одну точку, не ел и не пил; это было то нервное состояние, в которое впадают некоторые люди, находящиеся во власти бурных страстей. Это явление редкое, но прекрасно знакомое любому врачу. Необыкновенно было только то, что у Луи до этого ни разу не было приступов этой болезни, хотя к ней предрасполагали и его привычка к экстатическим состояниям и сущность владевших им идей. Но его внешняя и внутренняя структура была настолько совершенна, что она могла долго выдерживать чрезмерное расходование душевных сил. Экзальтация, в которую его привело ожидание величайшего физического наслаждения, еще более усиленное целомудрием тела и силой души, наверное, и дала толчок к кризису, ни причина, ни следствия которого неизвестны. Случайно сохранившиеся письма очень хорошо показывают переход от чистого идеализма, в котором он жил, к самой обостренной чувственности. В свое время мы назвали замечательным это явление человеческой природы, в котором Ламбер усматривал случайное разделение наших двух основ и признаки полного исчезновения внутреннего существа, использовавшего для этой цели свои неведомые свойства под воздействием какой-то еще не разгаданной причины. Эта болезнь — пропасть такая же глубокая, как сон, — имела прямое отношение к системе доказательств, которую Ламбер дал в своем «Трактате о воле». В момент, когда господин Лефевр говорил мне о первом припадке Луи, я внезапно вспомнил о разговоре, который у нас был на эту тему после чтения одной медицинской книги.

— Глубокое размышление, всепоглощающий экстаз, — сказал Луи в заключение, — это, быть может, каталепсия в зародыше.

В тот день, когда он кратко сформулировал эту мысль, он пытался связать между собой духовные явления цепью зависимостей, следуя шаг за шагом за всеми действиями разума, начиная с простых, инстинктивных, чисто животных движений, какими довольствуются многие люди, особенно те, кто целиком расходует все силы на механическую работу; затем он переходил к многообразию мыслей, к сравнению, обдумыванию, размышлению, созерцанию, наконец, к экстазу и каталепсии. Конечно, наметив таким образом различные ступени внутреннего могущества человека, Ламбер со всей наивностью юного возраста решил, что у него возник план прекрасной книги. Я вспоминаю, что благодаря случайности, заставляющей верить в предопределение, мы наткнулись на великий Мартиролог[[56]](#footnote-56), где содержатся самые любопытные факты, говорящие о полном преодолении телесной жизни, что может быть доступно человеку, если его духовные силы достигают некоего пароксизма. Размышляя о следствиях фанатизма, Ламбер пришел к мысли, что те душевные движения, которым мы даем название чувств, вполне могли быть материальным потоком какого-нибудь флюида, который люди производят более или менее изобильно, в зависимости от способа, каким их органы поглощают животворящие субстанции в окружающей их среде. Мы страстно увлеклись каталепсией и с тем пылом, с каким дети относятся к своим предприятиям, старались переносить боль, думая о чем-нибудь другом. Мы изнуряли друг друга, делая некоторые эксперименты, уподобляясь припадочным прошлого века, религиозным фанатикам, чей опыт когда-нибудь послужит человеческой науке. Я становился Ламберу на живот и стоял на нем в течение нескольких минут, причем он не испытывал никакой боли; но, несмотря на эти безумные попытки, припадка каталепсии у нас не произошло. Это отступление мне показалось необходимым, чтобы объяснить возникшие у меня спервоначалу сомнения, которые господин Лефевр полностью рассеял.

— Когда припадок прошел, — сказал он, — мой племянник погрузился в состояние глубочайшего ужаса, в меланхолию, которую ничто не могло рассеять. Он решил, что поражен бессилием. Я стал наблюдать за ним с заботливостью матери и успел остановить его в тот момент, когда он чуть не сделал самому себе ту операцию, которой Ориген[[57]](#footnote-57) приписывал возникновение своего дарования. Я поспешил увезти его в Париж, чтобы поручить заботам господина Эскироля. Во время путешествия Луи почти был все время погружен в дремоту и не узнавал меня. В Париже врачи объявили его неизлечимым и единодушно посоветовали оставить его в полном одиночестве, стараться не нарушать тишины, необходимой для его маловероятного выздоровления, а для этой цели поместить в прохладной комнате, где всегда царил бы полумрак. Мадмуазель де Вилльнуа, от которой я скрыл состояние Луи, — продолжал он, щуря глаза, — и свадьбу которой считали расстроившейся, приехала в Париж и узнала решение врачей. Тотчас же она пожелала увидеть Ламбера, который едва узнал ее; затем она решила, как это свойственно прекрасным душам, посвятить свою жизнь необходимым заботам о его выздоровлении. Она говорила, что была бы обязана все это сделать для своего мужа. Неужели же для возлюбленного надо делать меньше? И она увезла Луи в Вилльнуа, где они и живут вот уже два года.

Вместо того, чтобы продолжать путешествие, я вышел в Блуа с намерением увидеть Луи. Старик Лефевр потребовал, чтобы я остановился только в его доме, где он показал мне комнату своего племянника, книги и все принадлежавшие ему предметы. При виде каждой вещи из груди старика вырывалось скорбное восклицание, выдававшее и те надежды, которые возбудил в нем преждевременно созревший гений Ламбера, и ужасную скорбь непоправимой потери.

— Этот молодой человек знал все, сударь, — говорил он, кладя на стол том, где заключались известные творения Спинозы[[58]](#footnote-58). — Как такой замечательный ум мог свихнуться?

— Но, сударь, — ответил я, — не могло ли это быть следствием его исключительно мощной натуры? Если он действительно жертва еще не обследованного во всех отношениях кризиса, который мы называем «безумием», я готов считать причиной всего страсть. Занятия Луи, образ жизни, который он вел, довели его силы и способности до такого напряжения, что тело и дух его не выдержали бы и самого легкого дополнительного возбуждения: любовь должна была или сломать их, или поднять до необычных проявлений, на которые мы, быть может, клевещем, именуя их, так или иначе, без достаточного понимания. Наконец, может быть, он увидел в наслаждениях брака препятствие на пути совершенствования своих внутренних чувств и своего полета через духовные миры.

— О сударь, — ответил старик, внимательно выслушав меня, — ваше рассуждение очень логично, но даже если я в нем разберусь, то разве это печальное знание утешит меня в потере племянника?

Дядя Ламбера принадлежал к числу людей, живущих только сердцем.

На следующий день я уехал в Вилльнуа. Добрый старик сопровождал меня до окраин Блуа. Когда мы были на дороге, ведущей в Вилльнуа, он остановился и сказал мне:

— Вы понимаете, что я туда не хожу. Но не забудьте того, что я вам сказал. В присутствии мадмуазель де Вилльнуа не покажите виду, что Луи вам кажется сумасшедшим.

Он неподвижно стоял на месте, где я с ним расстался, и смотрел мне вслед, пока я не потерял его из вида. Я шел к замку Вилльнуа, охваченный глубочайшим волнением. Мои размышления углублялись при каждом шаге, который я делал по дороге, столько раз пройденной Луи, когда его сердце было полно надежды, а душа возбуждена любовными желаниями. Кусты, деревья, причудливые извивы тропинки, края которой были изрезаны мелкими оврагами, — все приобретало для меня необычайный интерес. Я хотел обрести здесь впечатления и мысли моего бедного товарища. Несомненно, вечерние беседы на краю этой лощины, куда приходила к нему на свидание его возлюбленная, приобщили мадмуазель де Вилльнуа к тайнам этой благородной и богатой души, как когда-то, несколькими годами ранее, к ним приобщился я сам. Но наряду с руководившим мной почти благоговейным чувством больше всего занимал меня и вызывал во мне острое любопытство один факт — несокрушимая вера мадмуазель де Вилльнуа, о которой говорил мне добрый старик. Неужели она, в конце концов, заразилась безумием своего возлюбленного или же так глубоко проникла в его душу, что смогла постичь все его мысли, даже самые смутные? Я терялся перед этой изумительной загадкой чувства, оказавшегося сильнее самой вдохновенной любви, самого прекрасного самопожертвования. Умереть за другого — это почти обычная жертва. Жить, оставаясь верной единственной любви, — это героизм, принесший бессмертие мадмуазель Дюпюи[[59]](#footnote-59). Великий Наполеон и лорд Байрон в любви своей имели преемников, но вдова Болингброка достойна восхищения. Однако мадмуазель Дюпюи могла жить воспоминанием о долгих годах счастья, в то время как мадмуазель де Вилльнуа, узнавшая только первые волнения любви, была для меня образцом самоотверженности в самом широком смысле этого слова. Сама почти впавшая в безумие, она достигла необычайной духовной высоты, но, понимая, истолковывая безумие, она добавляла к прелести своего великого сердца достойный изучения идеал страсти. Когда я увидел высокие башни замка, при виде которых так часто вздрагивал мой бедный Ламбер, сердце мое живо затрепетало. Я как бы приобщился к его жизни, к его положению, вспомнив все события нашей юности. Наконец, я дошел до большого пустынного двора, проникнул в вестибюль замка, никого не встретив. Шум моих шагов привлек пожилую женщину, которой я передал письмо Лефевра к мадмуазель де Вилльнуа. Вскоре та же женщина пришла за мной и ввела меня в низкую комнату с задернутыми шторами, выстланную черными и белыми плитами. В глубине этой комнаты я смутно увидел Луи Ламбера.

— Присядьте, сударь, — сказал мне нежный голос, доходивший до самого сердца.

Мадмуазель де Вилльнуа оказалась рядом со мной — а я этого и не заметил — и бесшумно принесла мне стул, которого я сначала не взял. Было так темно, что в первый момент мадмуазель де Вилльнуа и Луи показались мне бесформенными черными силуэтами, вырисовывавшимися в сумраке. Я сел во власти того чувства, которое охватывает нас помимо воли под темными сводами церкви. Мои глаза, еще ослепленные блеском солнца, только постепенно привыкли к этой искусственной ночи.

— Этот господин, — сказала она ему, — твой товарищ по коллежу.

Ламбер не ответил. Я смог наконец разглядеть его, и это было одно из тех впечатлений, которые навсегда врезаются в память. Он стоял, опираясь локтями на выступ, образованный деревянными панелями, так что спина, казалось, сгибалась под тяжестью его склоненной головы. Волосы, длинные, как у женщины, падали на плечи, обрамляя его лицо, что придавало ему сходство с бюстами великих людей эпохи Людовика XIV. Лицо же это было необыкновенно бледным. Он по своей привычке тер одну ногу о другую машинальным безостановочным движением; звук этого постоянного трения кости о кость был мучительным для слуха. Около него была моховая подстилка, положенная на доску.

— Он очень редко ложится, — сказала мне мадмуазель де Вилльнуа, — хотя каждый раз спит несколько дней подряд.

Луи стоял так, как мне довелось его видеть, день и ночь устремив глаза в одну точку, никогда не опуская и не поднимая век, как мы делаем обычно. Спросив у мадмуазель де Вилльнуа, не повредит ли Ламберу некоторое усиление света, с ее согласия я чуть-чуть отодвинул штору и смог увидеть выражение лица моего друга. Увы, это лицо уже покрылось морщинами, побелело, свет погас в его глазах, ставших стеклянными, как глаза слепца. Все его черты, казалось, судорожно вытянулись вверх. Я попытался несколько раз заговорить с ним, но он меня не услышал. Это был осколок человека, вырванный из могилы, победа жизни над смертью или смерти над жизнью. Я находился там примерно около часа, погруженный в какую-то необъяснимую задумчивость, во власти тысячи скорбных мыслей. Я слушал мадмуазель де Вилльнуа, которая рассказывала мне все детали этой жизни ребенка в колыбели. Внезапно Луи перестал тереть ногу о ногу и медленно сказал:

— Ангелы — белые.

Я не могу объяснить, какое впечатление произвели на меня эти слова, звук любимого голоса, который я так мучительно жаждал услышать, уже перестав на это надеяться. Глаза мои наполнились слезами, и я тщетно старался их удержать. Невольное предчувствие промелькнуло в моей душе и заставило усомниться, что Луи потерял разум. Тем не менее я был совершенно уверен, что он меня не видит и не слышит; но гармония его голоса, казалось, выражавшая божественное счастье, придала этим словам непреодолимое могущество. Это было неполное раскрытие какого-то неведомого нам мира, но фраза прозвучала в наших душах, как некий изумительный колокольный звон среди глубокой ночи. Я больше не удивлялся тому, что мадмуазель де Вилльнуа считала Луи находящимся в здравом рассудке. Быть может, жизнь души поглотила у него жизнь тела. Быть может, подруга Ламбера была охвачена, как и я в тот момент, смутным ощущением иной, мелодической, вечно цветущей природы, которую мы называем *небом* в самом широком смысле этого слова. Эта женщина, этот ангел, всегда находилась здесь, сидя за пяльцами, и всякий раз, вытаскивая иголку, она грустно и нежно смотрела на Ламбера. Не в состоянии дольше выносить это ужасное зрелище, ибо я не мог, как мадмуазель де Вилльнуа, проникнуть во все его тайны, я вышел, и мы погуляли несколько минут, чтобы поговорить о ней и о Ламбере.

— Конечно, — сказала она мне, — Луи может показаться сумасшедшим, но он не сумасшедший, если слово «безумный» относится к тем, у кого по неизвестным причинам заболевает мозг и они не отдают себе отчета в своих действиях. В моем муже все координировано. Если он не узнал вас физически, не думайте, что он вас не видел. Ему удалось освободиться от своих телесных свойств, и он видит нас в другой форме, не знаю, в какой. Когда он говорит, то высказывает удивительные вещи. Но часто он лишь заканчивает словами мысль, возникшую в его душе, или, наоборот, начинает какую-нибудь фразу, а заканчивает ее мысленно. Другим людям он кажется безумным; для меня, живущей в атмосфере его мыслей, все его идеи ясны. Я иду по дороге, проложенной его духом, и, хотя я не знаю всех ее поворотов, я все же надеюсь оказаться у цели вместе с ним. С кем не случалось множество раз, что он, размышляя о пустяках, приходил к очень важной идее через ряд представлений или воспоминаний? Часто, говоря о чем-нибудь малосущественном, невинной точке отправления какого-нибудь беглого размышления, мыслитель забывает или умалчивает об абстрактных связях, которые привели его к выводу, и продолжает говорить, показывая только последнее звено этой цепи размышлений. Обыкновенные люди, которым не свойственно столь стремительное движение мыслей и образов, не зная внутренней работы души, начинают смеяться над мечтателем, объявляют его безумцем, если для него обычны такого рода провалы памяти. Луи всегда такой: он с быстротою ласточки без конца летает в пространствах мысли, и я умею следовать за ним по всем ее извилинам. Вот история его безумия. Может быть, когда-нибудь Луи вернется к этой жизни, в которой мы прозябаем; но если он начал дышать воздухом небес раньше, чем нам дано будет существовать в них, почему должны мы хотеть, чтобы он очутился вновь среди нас? Я счастлива, слыша, как бьется его сердце, и все мое счастье в том, чтобы быть около него. Разве он не принадлежит мне целиком? За эти три года дважды он был моим в течение нескольких дней: в Швейцарии, куда я его возила, и в глубине Бретани, на острове, где он принимал морские ванны. Дважды я была очень счастлива! Я могу жить воспоминаниями.

— Но вы записываете слова, которые у него вырываются? — спросил я.

— Зачем? — ответила она.

Я промолчал, человеческая наука казалась ничтожной по сравнению с этой женщиной.

— В то время, как он начал говорить, — сказала она, — я, кажется, записала его первые фразы, но потом перестала это делать; я тогда в этом ничего не понимала.

Я взглядом попросил показать мне их; она меня поняла, и вот что мне удалось спасти от забвения.

###### I

На земле все является производным от эфирной субстанции, общей основы многих явлений, известных под неточными терминами: электричество, теплота, гальванический или магнетический ток и т. д. Все виды превращений этой субстанции и составляют то, что в просторечии называют материей.

###### II

Мозг — это сосуд, куда животное в соответствии с мощью этого органа переносит все, что может впитать из субстанции с помощью своих внешних чувств. Из мозга она исходит превращенной в волю. Воля — это флюид, присущий всякому существу, способному двигаться. Отсюда бесчисленные формы, которые принимает живое существо вследствие различных комбинаций с субстанцией. Его инстинкты рождены необходимостью, обусловленной средой, в которой оно развивается. Отсюда все разнообразие живого.

###### III

В человеке воля становится присущей ему силой, превосходящей в напряженности волю других видов животных.

###### IV

Воля зависит от субстанции, постоянно питаясь ею, находя ее во всех превращениях, проникая в нее мыслью, которая является особой производной человеческой воли в соединении с различными видами субстанции.

###### V

Мысль принимает бесчисленные формы, в зависимости от большего или меньшего совершенства человеческих органов.

###### VI

Воля проявляется через органы, которые обычно называются пятью внешними чувствами, но на самом деле сводятся к одному: способности видеть. Ощущение и вкус, слух и обоняние — это то же зрение, но приспособившееся к измененной субстанции, которую человек может воспринять в двух состояниях: превращенном и непревращенном.

###### VII

Все вещи, попадающие благодаря форме в сферу единственного внешнего чувства — способности видеть, — сводятся к нескольким элементарным телам, основы которых находятся в воздухе или свете, или в воздухе и свете одновременно. Звук — это изменение воздуха; все цвета — это изменение света; всякий запах — это комбинация воздуха и света; таким образом, четыре аспекта материи в ее отношении к человеку: звук, цвет, запах и форма — одного и того же происхождения; ибо недалек тот день, когда все признают эту связь двух начал — света и воздуха. Мысль, которая рождена светом, выражается словами, рожденными звуком. В звуке все происходит, следовательно, от того вида субстанции, превращения которой различаются только числом, так сказать, дозировкой; пропорции этой дозировки и производят разнообразные индивидуумы или вещи в том, что именуется различными царствами природы.

###### VIII

Когда субстанция поглощена в достаточном количестве, она делает из человека инструмент огромной мощи, который входит в соприкосновение с самой основой субстанции и воздействует на природу, подобную большому потоку, поглощающему все мелкие. Когда волевой акт приводит в действие эту силу, независимую от мысли, тогда благодаря концентрации она обретает некоторые свойства субстанции, например, быстроту света, всепроникаемость электричества, способность насыщать тела, к чему надо прибавить способность понимать собственные возможности. Но в человеке есть нечто основное и всеподавляющее, что не поддается никакому анализу. Если человека расчленить на все составные части, то, может быть, можно будет найти элементы мысли и воли; но всегда обнаружится некое «х», которого нельзя объяснить, то самое «х», о которое я сам когда-то споткнулся. Это «х» — слово, — оно сжигает и пожирает тех, кто не подготовлен к его восприятию. Оно и порождает субстанцию непрерывно.

###### IX

Гнев, как и все проявления наших страстей, — это поток человеческой силы, действующей, как электрический ток. Когда он прорывается, возникает сотрясение, которое действует на всех присутствующих, даже если они не являются ни объектом, ни причиной. Разве не встречаются люди, которые, осуществляя свое волнение, химически очищают чувства масс?

###### X

Фанатизм и все другие чувства — это живые силы. Эти силы у некоторых людей становятся потоками воли, которые объединяют и увлекают за собой все.

###### XI

Если пространство существует, то некоторые способности дают возможность преодолевать его с такой быстротой, что это равносильно уничтожению пространства. От твоей постели до границ мира всего два шага: воля — вера!

###### XII

Факты ничего не значат, они не существуют, после нас остаются только идеи.

###### XIII

Мир идей делится на три сферы: инстинкта, абстракции и ясновидения.

###### XIV

Большая часть доступного для наблюдения человечества — самая слабая его часть — живет в сфере инстинкта. Люди инстинкта родятся, работают и умирают, не поднимаясь до второй ступени человеческого ума — сферы абстракции.

###### XV

Сферой абстракции начинается общество. Если абстракция по сравнению с инстинктом — почти божественная сила, она становится бесконечной слабостью по сравнению с даром ясновидения; только с помощью ясновидения можно объяснить бога. Абстракция заключает в зародыше всю природу, хотя и менее очевидно, чем зерно, таящее в себе всю систему растения и его плодов. От абстракции родятся законы, искусства, деловые интересы, социальные идеи. Она и слава и бедствие мира. Слава она тем, что создала общество, бедствие тем, что освобождает человека от необходимости вступать в сферу ясновидения, через которую проходит одна из дорог к бесконечности. Человек судит обо всем по своим абстракциям: добро, зло, добродетель, преступление. Он взвешивает все на весах своих правовых формул, его правосудие слепо. Правосудие бога зрячее, и в этом все. Между царством абстракции и царством инстинкта неизбежно возникают промежуточные состояния, где инстинкт и абстракция смешаны в разнообразнейших пропорциях. У одних больше инстинктивного, чем абстрактного, и vice versa[[60]](#footnote-60). Кроме того, есть существа, в которых эти два действия нейтрализуются, так как управляют одинаковыми силами.

###### XVI

Ясновидение заключается в том, чтобы видеть предметы материального мира так же отчетливо, как и предметы мира духовного, во всех его разновидностях и последствиях. Самые прекрасные гении человечества — это те, которые покинули темную сферу абстракции и устремились к свету ясновидения. (Ясновидение — species — видение, спекулятивное мышление, умение видеть все сразу; speculum — зеркало или способ понять вещь, видя ее всю целиком.) Иисус был ясновидящим, он видел в каждом явлении его корни и плоды, прошлое, его породившее, его действие в настоящем, его развитие в будущем; взор Иисуса проникал в умственную жизнь других людей. Совершенство внутреннего зрения порождает дар ясновидения. Ясновидение порождает интуицию. Интуиция — это одна из способностей «внутреннего человека», следовательно, ясновидение — его свойство. Оно действует с помощью неуловимой чувствительности, не осознанной тем, кто ему подчиняется: Наполеон бессознательно уходил с того места, куда должно было попасть ядро.

###### XVII

Между сферами ясновидения и абстракции, так же как между сферами абстракции и инстинктивности, находятся создания, в которых различные свойства двух царств сливаются, производят смешанные существа: гениальных людей.

###### XVIII

Ясновидящий необходимо является самым совершенным выражением *человека*, кольцом, соединяющим видимый мир с внешними мирами: он действует, видит и чувствует своим внутренним существом. Абстрактивист думает, инстинктивист действует.

###### XIX

Отсюда три ступени для человеческого рода: инстинктивист ниже среднего уровня, абстрактивист находится на этом уровне, а ясновидящий выше его. Ясновидящий открывает человеку его истинный путь, в нем начинает пробуждаться бесконечность, и там он прозревает свою судьбу.

###### XX

Существуют три мира: естественный, духовный, божественный. Человечество проходит через естественный мир, который не остается незыблемым ни в своем существе, ни в своих проявлениях. Духовный мир незыблем в существе, но подвижен в проявлениях. Божественный мир незыблем и в существе и в проявлениях. Таким образом, существуют три культа: материальный, духовный, божественный, им соответствуют три формы, выражающиеся действием, словом, молитвой, иначе говоря, существуют факт, разумение и любовь. Инстинктивист ищет фактов, абстрактивист занимается идеями, ясновидящий видит конечную цель: он стремится к богу, ибо он его предчувствует или созерцает.

###### XXI

Так когда-нибудь обратный смысл выражения et Verbum caro factum est[[61]](#footnote-61) будет кратким содержанием нового евангелия, которое заявит: «И плоть станет словом, и она станет СЛОВОМ БОГА».

###### XXII

Воскресение осуществляется ветром с небес, который взметает миры. Ангел, которого несет ветер, не говорит: «Мертвые, встаньте!» Он говорит: «Пусть встанут живые!»

Таковы те мысли, которым я с большим трудом придал формы, доступные нашему пониманию. У него были и другие, которые, не знаю, по каким причинам, Полина запомнила особенно отчетливо, их я записал; но они приводят в отчаяние разум, ибо, зная, какой гений их высказал, стремишься их понять. Я процитирую некоторые из них, чтобы закончить зарисовку этого образа. Может быть, их стоит процитировать еще и потому, что эти последние идеи лучше охватывают все миры, чем предыдущие, как будто применимые только к зоологическому миру. Но между этими двумя сериями фрагментов есть соответствие, очевидное для взора тех немногих людей, которым нравится погружаться в бездны такого рода идей.

###### I

Все на земле существует только в движении и числе.

###### II

Движение — это в какой-то мере действующее число.

###### III

Движение — это производная силы, рожденной словом и сопротивлением, что и является материей. Без сопротивления движение не имело бы результата, его действие было бы бесконечным. Всемирное тяготение Ньютона не есть закон, но следствие общего закона мирового движения.

###### IV

Между движением и сопротивлением возникает некое равновесие, которое и становится жизнью; как только одна из этих двух сил побеждает, жизнь прекращается.

###### V

Нигде движение не бывает бесплодным, повсюду оно порождает число, но, как в минерале, оно может быть нейтрализовано превосходящим по силе сопротивлением.

###### VI

Число, порождающее всяческое разнообразие, создает одновременно и гармонию, которая в своем самом высоком значении является связью между частями и единством.

###### VII

Без движения все было бы одним и тем же единством. Его производные, одинаковые в своей сущности, различаются только в числе, породившем его свойства.

###### VIII

Человек проявляется в свойствах, ангел — в сущности.

###### IX

Приобщая свое тело к элементарному действию, человеку, быть может, удастся приобщиться к свету своим внутренним миром.

###### X

Число — это разумный свидетель, присущий только человеку, благодаря которому он приходит к познанию слова.

###### XI

Есть число, которое нечистый не может переступить. Число, которым заканчивается творение.

###### XII

Единство — это отправная точка для всего, что было произведено; отсюда возникли сложные соединения, но конец их должен быть сходен с началом. Отсюда и вытекает формула спиритуализма: сложное единство, изменчивое единство и единство установившееся.

###### XIII

Вселенная — это разнообразие в единстве. Движение — это средство, число — результат. Конец — это возвращение всего существующего к единству, а это единство и есть бог.

###### XIV

Три и семь — два самых значительных числа для духовного мира.

###### XV

Два — это число, означающее размножение. Три — это духовный знак творения, так же как материальный знак окружности. Действительно, бог творил с помощью сферических линий. Прямая — это атрибут бесконечности; так человек, предчувствующий бесконечное, воспроизводит ее в своем творчестве.

Два — это число, означающее размножение. Три — это число, выражающее существование, включающее размножение и плод. Прибавьте четверицу, и вы получите семь, то есть формулу небес. Бог выше всего этого, он — единство.

После того как я еще раз повидал Ламбера, я расстался с его женой и оказался во власти идей, до такой степени противоположных общественной жизни, что я отказался, несмотря на обещание, вернуться в Вилльнуа. Облик Луи произвел на меня неизъяснимо зловещее впечатление. Я побоялся снова оказаться в опьяняющей атмосфере, где экстаз казался столь заразительным. Каждый, как и я, мог почувствовать желание броситься в бесконечность, точно так же как солдаты во время лагерной стоянки у Булони убивали себя в укрытии, где один из них покончил с собой. Известно, что Наполеон должен был сжечь этот лесок, зараженный представлениями, дошедшими до состояния смертоносных миазмов. Может быть, в комнате Луи было то же самое, что в этом укрытии. Эти два факта являются доказательством его учения о передаче волевых импульсов. Я почувствовал необычайное волнение, превосходящее самое фантастическое воздействие чая, кофе, опиума, сна или лихорадки — таинственных возбудителей, столь ужасно влияющих на наш мозг. Быть может, я мог бы превратить в законченную книгу эти обрывки мыслей, понятные только для немногих умов, привыкших склоняться над краем бездны в надежде увидеть ее дно. Жизнь этого гигантского ума, который, несомненно, повсюду дал трещины, как слишком обширная держава, развернулась бы в повествовании о видениях этого существа, неполных из-за чрезмерной силы или чрезмерной слабости; но я бы предпочел просто отдать отчет в своих впечатлениях, вместо того чтобы создавать более или менее художественное произведение.

Ламбер умер двадцати восьми лет 25 сентября 1824 года на руках у своей подруги. Она похоронила его на одном из островов парка Вилльнуа. На его могиле стоит простой крест, высеченный из камня, без имени, без даты. Цветок, рожденный на краю бездны, должен был погибнуть безвестно, и никто не узнал ни его цвета, ни аромата. Как многие непонятые люди, он зачастую стремился гордо погрузиться в бездну, чтобы похоронить в ней тайны своей жизни! В то же время мадмуазель де Вилльнуа имела право написать на этом кресте имя Ламбера, присоединив к нему свое. Разве после смерти мужа эта единственная связь не была для нее единственной надеждой? Но тщеславие скорби чуждо верным душам. Замок Вилльнуа разрушается. Жена Ламбера не живет там больше, конечно, ради того, чтобы яснее видеть себя в нем издали такой, какой она была в то время. Разве не слышали все, как она говорила когда-то:

— Мне принадлежит его сердце, а богу — его гений.

*Замок Сашэ. Июнь — июль 1832 г.*

1. Ныне и всегда нежно любимой посвящаю (*лат.*). — Обращение к г‑же Лоре де Берни (1777—1836) — первой любви Бальзака. До самой смерти г‑жи де Берни Бальзак относился и ней с большой нежностью. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ораторианец* — член религиозного общества Ораторианцев, основанного в Западной Европе в XVI веке и получившего свое название от ораторий — молитвенных домов. Ораторианцы имели много коллежей, пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Вандомский коллеж.* — Здесь и далее Бальзак вспоминает свои ученические годы в Вандомском коллеже, где он пробыл с 1807 по 1813 год. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Г‑жа де Сталь*, Жермена (1766—1817) — французская либеральная писательница; автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина»; выступала против диктатуры Наполеона, который изгнал ее из Франции. Госпожа де Сталь вернулась на родину лишь после падения Наполеона. [↑](#footnote-ref-4)
5. Безделье (*итал.*). [↑](#footnote-ref-5)
6. *В качестве присягнувшего революции священника.* — В период французской буржуазной революции 1789 года священники обязывались принести присягу на верность республике и конституции; отказавшиеся от принесения присяги лишались права совершать богослужение. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Битва при Аустерлице.* — 2 декабря 1805 года под Аустерлицем в Моравии (Чехословакия) австрийская и русская армии потерпели поражение в сражении с Наполеоном. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Апокалипсис* — одна из книг христианского «Нового завета», содержащая мистические «пророчества», рисующая ужасы и страшные бедствия, якобы предстоящие миру. [↑](#footnote-ref-8)
9. Бездна бездн (*лат.*). [↑](#footnote-ref-9)
10. Дух божественного (*лат.*). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Г‑жа Гюйон*, Жанна‑Маряя (1648—1717) — автор религиозно‑мистических сочинений. [↑](#footnote-ref-11)
12. *«Небо и ад»* — основное произведение шведского философа‑мистика Эммануила Сведенборга (1688—1772). Сведенборг утверждал, что будто бы существует невидимый мистический мир, населенный ангелами, которые занимают промежуточное положение между людьми и божествами. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Сен‑Мартен*, Луи‑Клод (1743—1803) — французский философ‑мистик. Воздействие философских взглядов Сен‑Мартена на Бальзака проявляется в «Луи Ламбере» и «Серафите». [↑](#footnote-ref-13)
14. *Жане*, Жан‑Батист (1755—1840) — французский поэт, увлекавшийся мистикой. [↑](#footnote-ref-14)
15. *События 1814—1815 годов* — то есть отречение Наполеона I, первая Реставрация Бурбонов, период «Ста дней», когда Наполеон вновь вернулся к власти, и его вторичное отречение. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Конгрегация* — объединение католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во время Реставрации были важнейшими проводниками политической реакции. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Мэтр Жак* — персонаж комедии Мольера «Скупой», служивший своему хозяину Гарпагону одновременно и кучером и поваром; в переносном смысле — мастер на все руки. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Монкальм, Пико делла Мирандола, Паскаль* — крупные мыслители и ученые, выдающиеся способности которых проявились уже в очень раннем возрасте. *Пико делла Мирандола* (1463—1494) — итальянский гуманист, философ, поэт. *Паскаль* Блэз (1623—1662) — французский философ, писатель, математик, физик, установил закон распространения давления в жидкостях (закон Паскаля). [↑](#footnote-ref-18)
19. *Эпопея об Инках* — автобиографический эпизод, о котором упоминает в своих воспоминаниях сестра Бальзака, Лора де Сюрвиль. *Инки* — древнейший народ Мексики, уничтоженный испанскими завоевателями. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Пифагор* (ок. 580 — ок. 500 г. до н. э.) — древнегреческий философ‑идеалист, ученый‑математик, считал числа сущностью всех вещей, в музыке и математике видел основное средство воспитания человека. [↑](#footnote-ref-20)
21. Последнее средство отцов (*лат.*). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Гревская площадь* — площадь в Париже, на которой до Июльской революции 1830 года происходили публичные казни. [↑](#footnote-ref-22)
23. *«Прокаженный из долины Аосты»* — роман французского писателя Ксавье де Местра (1763—1852), вышедший в 1811 году. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Якоб Бёме* (1575—1624) — немецкий мистик, утверждавший, что ему были видения потустороннего мира. [↑](#footnote-ref-24)
25. Кай Гракх, благородный муж (*лат.*).

    *Кай Гракх* (153—121 г. до н. э.) — римский трибун, защищавший интересы народа. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Кювье*, Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, палеонтолог. На основании выведенного им закона соотношения частей организма животного Кювье по отдельным костям восстанавливал строение скелета ископаемых животных; отстаивал метафизическую теорию о неизменности видов в природе, выдвинул учение о геологических катастрофах, якобы объясняющих развитие животного мира. [↑](#footnote-ref-26)
27. Двойственный человек (*лат.*). [↑](#footnote-ref-27)
28. *Месмер*, Франц‑Антон (1733—1815) — австрийский врач, получивший сенсационную известность своей теорией так называемого «животного магнетизма». [↑](#footnote-ref-28)
29. *Лафатер*, Иоганн‑Каспар (1741—1801) — швейцарский ученый, философ и богослов, автор системы физиогномики, якобы определявшей характер человека по чертам его лица. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Галль*, Франц‑Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, выдвинул теорию — френологию — о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями человека и его характером. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ, сенсуалист, автор книги «Опыт о человеческом разуме». [↑](#footnote-ref-31)
32. *Биша*, Мари‑Франсуа‑Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач. [↑](#footnote-ref-32)
33. Образ, существо (*лат.*). [↑](#footnote-ref-33)
34. *Декарт*, Ренэ (1596—1650) — французский философ и математик. Слепой, бездоказательной вере Декарт противопоставлял разум. «Сомнение» было для Декарта исходным пунктом его философских рассуждений. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Оккультное орудие.* — Оккультизм — общее название лженаук о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся различные виды магии, гадания, спиритизм и т. д. Бальзак одно время увлекался оккультизмом. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Кардано*, Джероламо (1501—1576) — итальянский философ, математик, врач, увлекался мистицизмом, предсказал день своей смерти и фактически уморил себя голодом, чтобы оправдать предсказание. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Аполлоний Тианский* — греческий философ‑мистик (I в. н. э.). [↑](#footnote-ref-37)
38. *Плотин* (205—270 г. н. э.) — древнегреческий философ‑идеалист, последователь Платона, утверждал возможность познания бога в состоянии экстаза. [↑](#footnote-ref-38)
39. И слово стало плотью (*лат.*). [↑](#footnote-ref-39)
40. *Лукулл* (106—56 г. до н. э.) — римский государственный деятель, прославился своими пирами, роскошью и богатством. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Бернар*, Самюэль (1651—1739) — крупный финансист при Людовике XIV. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Божон*, Николá (1718—1786) — крупный банкир, старался приобрести репутацию мецената и благотворителя. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Доведенная до бесконечности территориальная раздробленность...* — Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право первородства, то есть преимущественное право старшего сына нераздельно наследовать состояние отца. Право наследования получили все дети. Это вело к раздроблению земельных владений дворянства. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Шиваизм, вишнуизм и браманизм* — поклонение богам Шиве, Вишну и Брахме — верховной триаде индуистской религии (Тримурти — то есть троица).

    Далее Бальзак говорит о развитии политеистических религии, то есть религий, основанных на поклонении нескольким богам. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Магизм* — религиозная система, созданная в Мидии (VII в. до н. э.), в среде индийского племени магов, которые одни имели право быть жрецами. Для магизма был характерен дуализм. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Мозаизм*, или *маздеизм* — религия древних народов Малой Азии, основанная на дуалистическом культе доброго бога Мазды и бога зла Аримана. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Кабиризм* — поклонение божествам плодородия кабирам. Культ кабиров был распространен в Малой Азии и оттуда пришел в Древнюю Грецию. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Конфуций* (551—479 г. до н. э.) — по китайской традиции — мудрец, философ, основатель конфуцианства — религиозно‑морального учения Древнего Китая. Идеология конфуцианства построена на культе предков, почитании монарха, родителей и старших. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Зороастр*, или Заратуштра — мифический пророк — реформатор древнеиранской религии, положивший, по преданию, начало религии маздеизма. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Моисей* — библейский легендарный персонаж, вождь и законодатель древних евреев, считается основоположником религии иудаизма. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Мекка* — священный город мусульман (магометан). [↑](#footnote-ref-51)
52. *Левиты* — священнослужители у древних иудеев. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Палимпсесты* — в древности и во времена средневековья рукопись, написанная на пергаменте по смытому или соскобленному тексту. [↑](#footnote-ref-53)
54. *...пожелал пальмовых ветвей* — то есть захотел стать академиком. Парадные мундиры академиков украшены изображением пальмовых ветвей. [↑](#footnote-ref-54)
55. И ныне и присно (*лат.*). [↑](#footnote-ref-55)
56. *Великий Мартиролог* — список мучеников католической церкви, созданный по распоряжению папы Григория XIII. Опубликован в 1536 году. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ориген* — богослов (конец II — начало III в. н. э.). Согласно легенде, он себя ослепил, чтобы, не вызывая пересудов, иметь возможность объяснять женщинам священные книги. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Спиноза*, Барух (1632—1677) — голландский философ, отвергал бога как творца природы, считая, что сама природа есть бог. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Мадмуазель Дюпюи* — верная подруга лорда Болингброка (1678—1751), английского политического деятеля, бывшего неоднократно министром. [↑](#footnote-ref-59)
60. Наоборот (*лат.*). [↑](#footnote-ref-60)
61. Слово станет плотью (*лат.*). [↑](#footnote-ref-61)